



Acq. Dept., Library
Univ. of North Carolina
Chapel Hill, N. C. 27514

Kellogg
1874-1911

C
C
C
S

Vols: 110 only

(27)

C
S

Dr:

mmended

YLC

4425

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA



ENDOWED BY THE
DIALECTIC AND PHILANTHROPIC
SOCIETIES

PG3452
.A1
1910
t.11

331
2

memo 6298
68

8

Леонидъ Андреевъ.

Собраніе сочиненій.

Всемірна библіотека.

Собранія сочиненій извѣстныхъ
русскихъ и иностранныхъ писателей.

Въ эту серію входятъ слѣдующія
собранія сочиненій:

од. 6

I серія.

А. В. Амфитеатрова, подь наблюденіемъ автора;
Л. Н. Андреева, со вступительной статьей проф. М. А. Рейснера;
Ө. М. Достоевскаго, съ многочисл. приложеніями;
Г. А. Мачтета, подь редакціей Д. П. Сильчевского;
В. Г. Тана, подь наблюденіемъ автора;
Ольги Шапиръ, подь наблюденіемъ автора.

II серія.

Д. Я. Айзмана, подь наблюденіемъ автора;
С. А. Ан-скаго, подь наблюденіемъ автора;
Н. Н. Златовратскаго, подь наблюденіемъ автора;
Б. А. Лазаревскаго, подь наблюденіемъ автора;
А. И. Левитова, со вступ. статьей А. А. Измайлова;
В. В. Муйжеля, подь наблюденіемъ автора;
Вас. И. Немировичъ-Данченко, подь наблюденіемъ автора;
Н. Ф. Олигера, подь наблюденіемъ автора;
Н. М. Осиповича, подь наблюденіемъ автора.

III серія.

А. С. Пушкина, подь редакціей П. О. Морозова и В. В. Каллаша;
М. Ю. Лермонтова, подь ред. Арс. И. Введенскаго;
Н. В. Гоголя, подь редакціей В. В. Каллаша;
И. А. Крылова, подь редакціей В. В. Каллаша;
А. В. Кольцова, подь редакціей Арс. Ив. Введенскаго;
С. Т. Аксакова, подь редакціей А. Г. Горнфельда;
А. Н. Островскаго, подь ред. М. И. Писарева;
Н. Г. Помяловскаго, съ біограф. очерк. Н. А. Благовѣщенскаго;
А. А. Потѣхина, подь наблюденіемъ автора;
П. М. Невѣжина, подь наблюденіемъ автора;
С. В. Максимова, со вступ. статьей П. В. Быкова;
И. С. Никитина, подь ред. А. Г. Фомина и Ю. И. Айхенвальда;
Н. А. Добролюбова, подь редакціей В. П. Краинихфельда;
Н. Я. Соловьева, съ портретомъ автора.

IV серія.

Чарльза Диккенса, со вступ. статьей Д. П. Сильчевского;
Элизы Оржешко, подь ред. С. С. Зелинского;
Г. де Мопасана, съ критико-біографич. очеркомъ З. А. Венгеровой;
Эдгара По, съ критико-біографич. очеркомъ М. А. Энгельгардта;
Эмиля Зола, подь редакц. и со вступ. статьями Ө. Д. Батюшкова и
Е. В. Аничкова;
Георга Брандеса, съ предисловіемъ М. В. Лучицкой.

С.-Петербургъ.

Книгоиздательское Товарищество „Просвѣщеніе“,
Забалканскій просп., соб. д. № 75.

А-654

ЛЕОНИДЪ АНДРЕЕВЪ.

Собраніе сочиненій.

Съ портретомъ автора и вступительной
статьей проф. М. А. Рейснера.

84855

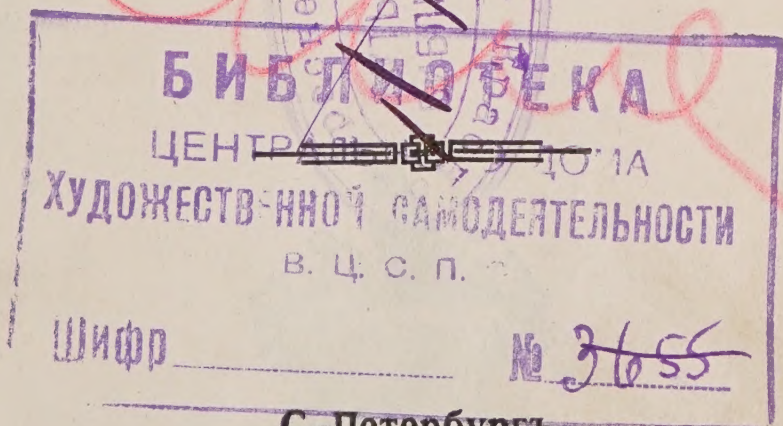
PG 3452

AI

1910

т. II

Томъ одиннадцатый.



С.-Петербургъ.

Типо-лит. Акціонернаго О-ва „Самообразование“,
Забалканскій просп., д. № 75

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ЧИТАЛЬНЯ
В Ц С П С

ПРОВ. I


Бумага безъ примѣси древесной массы.

VK



Оглавленіе.

Анатэма	Стр. 1
Анфиса	181



Digitized by the Internet Archive
in 2022 with funding from
University of North Carolina at Chapel Hill

Анатэма.

Лица, участвующія въ представленіи.

Нѣкто, ограждающій входы.

Анатэма.

Давидъ Лейзеръ.

Сура, его жена.

Наумъ и Роза, ихъ дѣти.

Иванъ Безкрайній

Сонка Цитронъ

Пурикесъ

} торговцы.

Учитель танцевъ.

Молодой господинъ.

Блѣдный господинъ.

Шарманщикъ

Странникъ

Абрамъ Хессинъ

Плачущая женщина

Женщина съ ребенкомъ

Пьяный

Дѣвочка отъ Сонки

Лейбке

} бѣдняки.

Музыканты, слѣпые и народъ.

Первая картина.

Первая картина.

Сцена представляет собою пустынную, дикую мѣстность, какъ бы склонъ нѣкоей горы, поднимающейся въ безпредѣльную высь. Въ глубинѣ сцены, на половинѣ горы, стоятъ огромныя, желѣзныя, наглухо закрытыя врата, знаменующія собою предѣлъ умопостигаемаго міра. За желѣзными вратами, угнетающими землю своею неимоверной тяжестью, въ безмолвіи и тайнѣ, обитаетъ Начало всякаго бытія, Великій Разумъ вселенной.

У подножія вратъ, тяжко опершись на длинный мечъ въ полной неподвижности стоитъ Нѣкто, ограждающій входы. Облаченный въ широкія одежды, въ неподвижности складокъ и изломовъ своихъ подобный камню, Онъ скрываетъ лицо свое подъ темнымъ покрываломъ, и Самъ являетъ собою величайшую тайну. Единый мыслимый, единъ Онъ предстоить землѣ; стоящій на грани двухъ міровъ, Онъ двойствененъ своимъ составомъ: по виду человѣкъ, по сущности Онъ Духъ. Посредникъ двухъ міровъ, Онъ словно щитъ огромный, собирающій всѣ стрѣлы, — всѣ взоры, всѣ мольбы, всѣ чаянія, укоры и хулы. Носитель двухъ началъ, Онъ облакаетъ рѣчь свою въ безмолвіе, подобное безмолвію самихъ желѣзныхъ вратъ, и въ человѣческое слово.

Среди камней, озираясь пугливо и дико, показывается Анатѣма — такъ именуется Нѣкто, преданный заклѣтію. Припадая къ сѣрымъ камнямъ, самъ сѣрый, осторожный и гибкій, какъ змѣя, отыскивающая нору, онъ тихо крадется къ Нѣкому, ограждающему входы, мечтая поразить его ударомъ неожиданнымъ. Но самъ пугается дерзости своей и, вскочивъ на ноги, смѣется вызывающе и злобно. Затѣмъ присаживается на камнѣ, съ видомъ свободнымъ и независимымъ, и бросаетъ маленькіе камешки къ ногамъ Нѣкогого, ограждающаго входы, — хитрый, онъ скрываетъ свой страхъ

подъ личиной насмѣшки и легкой дерзости. При слабомъ свѣтѣ, сѣромъ и безцвѣтномъ, голова преданнаго заклѣтію кажется огромной; особенно великъ его высокій куполообразный лобъ, изрѣзанный морщинами бесплодныхъ думъ и неразрѣшимыхъ, изъ вѣка поставленныхъ вопросовъ. Рѣдѣющая борода Анатэмы совершенно сѣда; побѣлены сѣдиною и его волосы, нѣкогда черные, какъ смоль, теперь же сѣрыми, дикими лохмами вздымающіеся на головѣ его. Безпокойный въ движеніяхъ, онъ тщетно пытается скрыть вѣчно пожирающую его тревогу и торопливость, лишенную цѣли. И соревнуя безсильно гордой неподвижности Нѣкоего, ограждающаго входы, онъ затихаетъ на мгновеніе въ позѣ гордаго величія, но уже въ слѣдующую минуту, въ мучительной погонѣ за вѣчно ускользающимъ, онъ мечется въ безмолвныхъ корчахъ, какъ червь подъ пятою. И въ вопросахъ своихъ онъ быстръ и яростенъ, какъ вихрь, черпающій силу и ярость въ круговращеніи своемъ; но увлекаая малые предметы, онъ распадается безсильно передъ лицомъ Молчанія.

Анатэма.

Ты все еще здѣсь на стражѣ? А я думалъ, что ты ушелъ — вѣдь и у цѣпной собаки есть минуты, когда она отдыхаетъ или спитъ, хотя бы конурою служилъ ей цѣлый міръ, а господиномъ — вѣчность! И развѣ боится воровъ вѣчность? Но не гнѣвайся; какъ добрый другъ пришелъ я къ тебѣ и молю покорно: открой на мгновение тяжелыя врата и дай заглянуть мнѣ въ вѣчность. Ты не смѣешь? Но, быть можетъ, разошлись отъ старости могучія врата и въ узенькую щель, никого не тревожа, сможетъ заглянуть несчастный, честный Анатэма — укажи ее знакомъ. Тихонько, на брюхѣ, я подползу, взгляну — и уползу обратно, и Онъ не будетъ знать. А я буду знать и стану Богомъ, стану Богомъ, стану Богомъ! Такъ давно уже мнѣ хочется стать Богомъ — и развѣ плохой бы я былъ Богъ? Смотри.

(Становится въ надменную позу, но тотчасъ же хохочетъ. Затѣмъ спокойно, поджавъ ноги, усаживается на плоскомъ камнѣ и бросаетъ игральныя кости. Бормочетъ какъ бы про себя, но настолько громко, чтобы его слышалъ Нѣкто, ограждающій входы.)

Анатэма.

Не хочешь, не надо — драться я не стану. Развѣ я за этимъ пришелъ сюда? Просто я гулялъ по міру, и совершенно случайно забрелъ сюда — мнѣ нечего

дѣлать, и я гуляю. А вотъ теперь я сыграю въ кости, — мнѣ нечего дѣлать, и я сыграю въ кости. Будь бы не такъ важенъ Онъ, я пригласилъ бы и его — но онъ слишкомъ гордъ, слишкомъ гордъ и не понимаетъ удовольствія игры. Шесть, восемь, двадцать — вѣрно. У Діавола всегда вѣрно, даже когда онъ играетъ честно... Давидъ Лейзеръ... Давидъ Лейзеръ...

(Обращаясь къ Нѣкому, ограждающему входы, развязно):

— Ты не знаешь ли Давида Лейзера? Вѣроятно, нѣтъ. Это старый, больной и глупый еврей, котораго никто не знаетъ, и даже твой Господинъ забылъ о немъ. Такъ говоритъ Давидъ Лейзеръ, и я не могу ему не вѣрить: онъ глупый, но честный человѣкъ. Это его я выигралъ сейчасъ въ кости — Ты видѣлъ: шесть, восемь, двадцать. Однажды на берегу моря я встрѣтилъ Давида Лейзера, когда онъ допрашивалъ волны, о чемъ жалуются онѣ; и онъ мнѣ понравился. Глупый, но честный человѣкъ, и если его хорошенько просмолить и зажечь, то выйдетъ недурной факель для моего праздника.

(Болтая съ притворной развязностью, тихонько перебирается на ближайшій къ Нѣкому камень.)

— Никто не знаетъ Давида Лейзера, а я сдѣлаю его славнымъ, я сдѣлаю его могущественнымъ и великимъ — очень возможно, что даже безсмертнымъ я сдѣлаю его. Ты не вѣришь? Никто не вѣритъ мудрому Анатэмъ, даже говорящему правду — а кто же любитъ правду больше, нежели Анатэма? Не ты ли? Молчаливый пѣсь, грабитель, укравшій истину у міра, желѣзомъ заградившій входы!

(Яростно бросается на Нѣкого, ограждающаго входы, и съ визгомъ ужаса и боли отступаетъ предъ грозной неподвижностью его. И ноетъ жалобно, припадая сѣрой грудью къ сѣрому камню.)

— Ахъ, у Діавола сѣдые волосы! Плачьте, возлюбившіе Анатэму, стенайте и горюйте, стремящіеся къ истинѣ, почитающіе умъ — у Анатэмы сѣдые волосы! Кто поможетъ сыну зари, — онъ одинокъ во вселенной. Зачѣмъ, Великій, ты напугалъ такъ безстрашнаго Анатэму — онъ не хотѣлъ тебя ударить, онъ только приблизиться хотѣлъ. Можно подойти къ тебѣ, скажи?

(Нѣкто, ограждающій входы, молчитъ, но Анатэмѣ слышится что-то въ его молчаніи. Вытянувъ змѣиную шею, онъ кричитъ страстно.)

— Громче, громче. Молчишь ты, или говоришь, я не понимаю? У преданнаго заклѣтію тонкій слухъ, и въ твоёмъ молчаніи онъ улавливаетъ тѣни какихъ-то словъ; смутное движеніе мыслей онъ чувствуетъ въ неподвижности твоей — но онъ не понимаетъ. Говоришь ты или молчишь? Сказалъ ли ты: подойди, или мнѣ только послышалось это?

Нѣкто, ограждающій входы.

Подойди.

Анатэма.

Ты сказалъ. Но я не смѣю подойти.

Нѣкто.

Подойди.

Анатэма.

Я боюсь!

(Нерѣшительно, зигзагообразными движеніями подбирается къ Нѣкому, ложится на брюхо и ползетъ, стеная отъ тоски и страха.)

— Ахъ, я князь тьмы, я мудрый, я сильный, и видишь, я ползу на брюхѣ, какъ собака. И это потому, что я люблю тебя, и край твоихъ одеждъ по-

цѣловать хочу. Но отчего же такъ болить мое старое сердце, скажи, Всезнающій.

Нѣкто, ограждающій входы.

У преданнаго заклятію нѣтъ сердца.

Анатэма (подвигаясь).

Да, да, у преданнаго заклятію нѣтъ сердца, его грудь нѣма и неподвижна, какъ сѣрый камень, который не дышитъ. О, будь у Анатэмы сердце, ты давно убилъ бы его страданіями, какъ убиваешь глупаго человека. Но у Анатэмы есть умъ, ищущій правды, ничѣмъ не защищенный отъ твоихъ ударовъ, пощади его... Вотъ я у ногъ твоихъ, открой мнѣ твое лицо. Только на мгновеніе, короткое какъ блескъ молній, открой мнѣ лицо твое.

(Раболѣпно жметъ у ногъ Нѣкогого, ограждающаго входы, не смѣя, однако, коснуться его одеждъ. Тщетно старается опустить глаза, бѣгающіе быстро, заглядывающіе, острые, сверкающіе, какъ угли подъ сѣрымъ пепломъ. Нѣкто молчитъ, и Анатэма продолжаетъ свои безплодныя и настойчивыя мольбы.)

— Не хочешь? Тогда назови мнѣ имя Того, кто за вратами. Тихимъ голосомъ назови его, и никто не услышитъ, и только я буду знать, мудрый Анатэма, тоскующій объ истинѣ. Не правда ли, что изъ семи буквъ состоитъ оно? Или изъ шести? Или изъ одной? Скажи. Только одна буква — и ты спасешь преданнаго заклятію отъ вѣчныхъ мукъ, и тебя благословитъ земля, которую рѣдирую я когтями. Зачѣмъ кричать? Ты скажешь тихо, тихо, только вздохнешь ты, и я уже пойму, и благословлю тебя... Скажи.

(Нѣкто молчитъ, и Анатэма послѣ нѣкотораго колебанія, полнаго ярости, медленно отползаетъ, съ каждымъ шагомъ становясь все смѣлѣе.)

— Это неправда, что я люблю тебя... Это неправда, что я хотѣлъ поцѣловать край твоихъ одеждъ... Мнѣ жаль тебя, если ты повѣрилъ: мнѣ просто нечего дѣлать, и я гуляю по міру... Мнѣ нечего дѣлать, и я спрашиваю встрѣчныхъ о томъ, о семъ, о чемъ я знаю самъ... Я знаю все!

(Встаетъ, встряхивается, какъ собака, вылѣзшая изъ воды, и, выбравъ камень повыше, становится на него въ надменно актерской позѣ.)

— Я знаю все. Мудрый, я проникъ въ смыслъ всѣхъ вещей, мнѣ вѣдомы законы чиселъ, и книга Судебъ открыта мнѣ. Единымъ взоромъ я объемлю жизнь, я ось въ кругу временъ, вращающемся быстро. Я великъ, я могучъ, я безсмертенъ, и во власть мнѣ отданъ человѣкъ. Кто посмѣетъ бороться съ Діаволомъ? Сильныхъ я убиваю, слабыхъ я заставляю кружиться въ пьяномъ танцѣ — въ безумномъ танцѣ — въ діавольскомъ танцѣ! Я отравилъ всѣ источники жизни, на всѣхъ ея путяхъ устроилъ я засады — развѣ не доходитъ до тебя голосъ проклинающихъ? — изнемогающихъ подъ бременемъ зла? — дерзающихъ безплодно? — тоскующихъ безконечно и страшно?

Нѣкто, ограждающій входы.

Я слышу.

Анатѣма (хохочетъ).

Имя! Назови имя! Освѣти путь Діаволу и Человѣку. Все въ мірѣ хочетъ добра — и не знаетъ, гдѣ найти его, все въ мірѣ хочетъ жизни — и встрѣчаетъ только смерть. Имя! Назови имя добра, назови имя вѣчной жизни! Я жду.

Нѣкто, ограждающій входы.

Нѣтъ имени у того, о чемъ ты спрашиваешь, Анатэма. Нѣтъ числа, которымъ можно исчислить, нѣтъ мѣры, которою можно измѣрить, нѣтъ вѣсовъ, которыми можно взвѣсить то, о чемъ ты спрашиваешь, Анатэма. Всякій, сказавшій слово: любовь — солгалъ. Всякій, сказавшій слово: разумъ — солгалъ. И даже тотъ, кто произнесъ имя: Богъ — солгалъ ложью послѣдней и страшной. Ибо нѣтъ числа — нѣтъ мѣры — нѣтъ вѣсовъ — нѣтъ имени у того, о чемъ ты спрашиваешь, Анатэма.

Анатэма.

Куда мнѣ идти? Скажи.

Нѣкто.

Куда идешь.

Анатэма.

Что мнѣ дѣлать? Скажи.

Нѣкто.

Что дѣлаешь.

Анатэма.

Безмолвіемъ ты говоришь — пойму ли я языкъ безмолвія твоего? Скажи.

Нѣкто.

Нѣтъ. Никогда. Мое лицо открыто — но ты его не видишь. Моя рѣчь громка — но ты ее не слышишь. Мои велѣнія ясны — но ты ихъ не знаешь, Анатэма. И не увидишь никогда — и не услышишь никогда — и не узнаешь никогда, Анатэма — несчастный духъ, без-

смертный въ числахъ, вѣчно живой въ мѣрѣ и вѣсахъ, но еще не родившійся для жизни.

Анатэма (терзаясь).

Никогда?

Нѣкто.

Никогда.

(Анатэма соскакиваетъ съ камня и мечется безумно, пожираемый тоскою. Припадая къ камнямъ, онъ обнимаетъ ихъ нѣжно и отталкиваетъ съ гнѣвомъ; стонаетъ горько. Обращаетъ лицо свое къ западу и востоку, сѣверу и югу земли, потрясаетъ руками, какъ бы призывая ее къ гнѣву и мести. Но безмолвны сѣрые камни, молчитъ западъ и востокъ, молчитъ югъ и сѣверъ земли, и въ грозной неподвижности, тяжко опершись на мечъ, стоитъ Нѣкто, ограждающій входы.)

Анатэма.

Возстань, земля! Возстань, земля! и препояшья мечомъ, человѣкъ! Не будетъ мира между тобою и небомъ, жилищемъ мрака и смерти становится земля, и Князь тьмы воцаряется надъ нею — отнынѣ и навсегда. Къ тебѣ иду я, Давидъ. Твою печальную жизнь, какъ камень изъ пращи, метну я въ гордое небо — и дрогнуть основы высокихъ небесъ. Рабъ мой, Давидъ: твоими устами возвѣщу я правду о судьбѣ человѣка.

(Обращается къ Нѣкому, ограждающему входы.)

— А ты!..

(Умолкаетъ стыдливо, смущенный безмолвіемъ. Потягивается лѣниво, какъ бы отъ скуки, и бормочетъ, но настолько громко, чтобы его слышалъ Нѣкто.)

— Впрочемъ, развѣ я не гуляю оттого, что мнѣ нечего дѣлать? Былъ здѣсь, а теперь пойду туда — развѣ мало путей у веселаго Діавола, любящаго здо-

ровый смѣхъ и беззаботную шутку. Шесть... это значитъ, что я приношу Давиду богатство, котораго онъ не ждалъ. Восемь... это значитъ, что Давидъ Лейзеръ исцѣляетъ больныхъ и воскрешаетъ мертвыхъ. Двадцать — вѣрно! Это значитъ... Это значитъ, что мы съ Давидомъ приходимъ благодарить, съ Давидомъ Лейзеромъ, великимъ, могучимъ, бессмертнымъ Давидомъ Лейзеромъ... Я уйду...

Анатэма (удаляется).

(Тишина. Безмолвны камни, безмолвны глухія врата, подавляющія землю безмѣрной тяжестью своею, безмолвень застывшій окаменѣвшій стражъ. Тишина.

Но не шаги ли, Анатэмы разбудили тревожное гулкое эхо? Разъ, два — идетъ кто-то тяжелый. Разъ, два — грузно ступаетъ кто-то тяжелый; шагъ одинъ, а идущихъ много; молчитъ идущій — а уже дрожитъ тишина, и зыблется безмолвіе. Мгновеніе звуковой тревоги, безсилія и трепетныхъ порывовъ. Сразу загорается безмолвіе желтыми высокими огнями: то гдѣ-то внизу, въ невидимой земной дали мѣдно-звонкимъ бунтующимъ крикомъ кричатъ длинныя трубы, которыя несутъ въ высоко приподнятыхъ рукахъ: ибо къ землѣ и небу обращенъ ихъ призывный, мятежный вопль.

Разъ, два — теперь уже ясно, что это движется толпа: ея чудовищный голосъ, ея слитно-раздѣльные вопли, шумливая и бурная рѣчь; и на низинахъ ея, въ лабиринтѣ ломаныхъ и темныхъ переходовъ, зарождается первый, отчетливый звукъ, скорѣе слово, скорѣе имя: Да-а-ви-и-дъ. Вычерчивается рѣзче, поднимается выше, и уже надъ головами плыветъ оно на крыльяхъ мѣдныхъ воплей, на тяжкихъ удахахъ переступающихъ ногъ.

— Да-а-ви-и-дъ. Да-а-ви-и-дъ. Да-а-ви-и-дъ.

Сливается въ аккорды. Становится пѣсней миллионовъ.

Завываютъ трубы — звономъ звенятъ мѣдныя, хрипомъ хрипятъ уставшія — зовутъ.

Слышитъ ли ихъ Нѣкто, ограждающій входы? Покрылись стонами сѣрые камни — къ ногамъ поднимаются страст-

ные вопли — но неподвиженъ Стражъ, но безмолвенъ Стражъ,
и нѣмы желѣзныя врата.

Грохочетъ бездна.

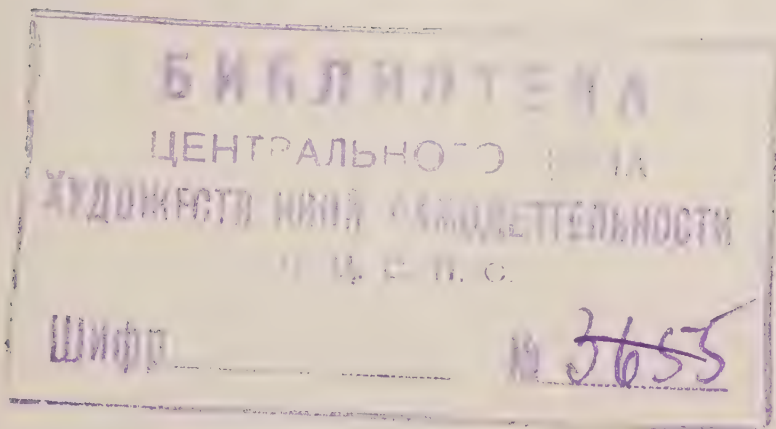
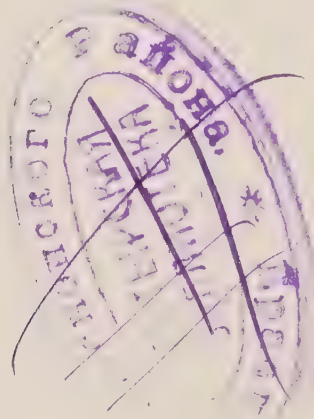
Единымъ ударомъ, раскалывающимъ землю, обрывается
ревъ мѣдный и крикъ — и изъ обломковъ, какъ ключъ изъ
скалы, разбитой молніей, выбивается нѣжная, пѣвуче-свѣтлая
мелодія.

Смолкаетъ.

Безмолвіе. Неподвижность. И ожиданіе — и ожиданіе —
и ожиданіе.)

Занавѣсъ.

84855



Леонидъ Андреевъ. XI.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАБОЧАЯ ЧИТАЛЬНЯ
В Ц С П С

Вторая картина.

Вторая картина.

На югѣ, лѣтній знойный полдень.

Широкая дорога, на выѣздѣ изъ большого, люднаго города. Начинаясь отъ лѣваго угла сцены, дорога наискось пересѣкаетъ ее и въ глубинѣ круто заворачиваетъ вправо. Два высокихъ, старинной постройки, каменныхъ столба, оббитыхъ и покосившихся, обозначаютъ границу города. По эту сторону городской черты, у праваго столба, заброшенная старая, когда-то желтая, караульня, съ обвалившейся штукатуркой и наглухо забитыми окнами; по краямъ же дороги нѣсколько маленькихъ, сколоченныхъ изъ дряннаго лѣса лавченокъ, отдѣленныхъ другъ отъ друга узенькими проходами — въ отчаянной, безсильной борьбѣ за существованіе лавченки безтолково налѣзаютъ одна на другую. Торгуютъ они всякою мелочью: леденцами, сѣмечками, дрянною колбасой, селедкою; у каждой небольшой грязный прилавокъ, сквозь который эффектно проходитъ труба съ двумя кранами — изъ одного течетъ содовая вода, стаканъ стоитъ копейка, изъ другого — сельтерская. Одна изъ лавченокъ принадлежит Давиду Лейзеру, остальные — греку Пурикесу, молодой еврейкѣ Сонкѣ Цитронъ и русскому Ивану Безкрайнему, который, помимо торговли, чинитъ также обувь и заливаетъ калоши; онъ же единственный торгуетъ „настоящимъ боярскимъ“ квасомъ.

Солнце жжетъ беспощадно, и нѣсколько небольшихъ деревьевъ, со свернувшимися отъ жары листьями тоскуютъ о дождѣ; и безлюдно на пыльной дорогѣ. За столбами, гдѣ дорога сворачиваетъ вправо, высокій обрывъ — куда-то внизъ сбѣгаютъ пыльные кроны рѣдкихъ деревьевъ. И

охватывая весь горизонтъ, дымно-синею полосою раскинулось море и спитъ глубоко въ зноѣ и солнечномъ блескѣ.

У своей лавченки сидитъ Сура, жена Давида Лейзера, старая еврейка, измученная жизнью. Чинитъ какія-то лохмотья и скучно переговаривается съ другими торговцами.

Сура.

Никто не покупаетъ. Никто не пьетъ содовой воды, никто не покупаетъ сѣмячекъ и прекрасныхъ леденцовъ, которые сами таютъ во рту.

Пурикесь (какъ эхо).

Никто не покупаетъ.

Сура.

Можно подумать, что всѣ люди умерли только для того, чтобы ничего не покупать. Можно подумать, что во всемъ мірѣ мы только одни съ нашими магазинами — во всемъ мірѣ только одни.

Пурикесь (какъ эхо).

Только одни.

Безкрайній.

Солнце сожгло покупателей — одни торговцы остались.

(Молчаніе. Слышенъ тихій плачъ Сонки.)

Безкрайній.

Ты, Сонка, купила вчера курицу. Развѣ ты убила кого-нибудь или ограбила, что можешь покупать куръ? И если ты такая богатая и прячешь деньги, то зачѣмъ ты торгуешь и мѣшаешь намъ жить?

Пурикесь (какъ эхо).

Мѣшаешь намъ жить.

Безкрайній.

Сонка, я тебя спрашиваю — правда, что ты вчера купила курицу? Не лги, я знаю это отъ достовѣрныхъ людей.

(Сонка молчить и плачетъ.)

Сура.

Когда еврей покупаетъ курицу, то или еврей боленъ, или курица больна. У Сонки Цитронъ умираетъ сынъ; вчера онъ началъ умирать и сегодня кончить — онъ живучій мальчикъ и умираетъ долго.

Безкрайній.

Зачѣмъ же она пришла сюда, если у нея умираетъ сынъ?

Сура.

Затѣмъ, что нужно торговать.

Пурикесь.

Нужно торговать.

(Сонка плачетъ.)

Сура.

Вчера мы ничего не кушали, ждали сегодняшняго дня, и сегодня мы не будемъ кушать въ ожиданіи, что наступитъ завтра и принесетъ намъ покупателей и счастье. Счастье! Кто знаетъ, что такое счастье? Всѣ люди равны передъ Богомъ, а одинъ торгуетъ на двѣ копейки, другой же на тридцать. И одинъ

всегда на тридцать, а другой всегда на двѣ, и никто не знаетъ, за что дается счастье человѣку.

Безкрайній.

Прежде я торговалъ на тридцать, а теперь торгую на двѣ. Прежде у меня не было боярскаго кваса, теперь же есть боярскій квасъ, а торгую я на двѣ копейки. Счастье перемѣнчиво!

Пурикесь.

Счастье перемѣнчиво.

Сура.

Вчера пришелъ сынъ мой Наумъ и спрашивалъ: мама, гдѣ отецъ? И я ему сказала: зачѣмъ тебѣ знать, гдѣ отецъ. Давидъ Лейзеръ, твой отецъ, больной и несчастный человѣкъ, который скоро долженъ умереть; и онъ ходитъ на берегъ моря, чтобы въ одиночествѣ бесѣдовать съ Богомъ о своей судьбѣ. Не тревожь отца, онъ скоро долженъ умереть — лучше мнѣ скажи, что хочешь сказать. И такъ отвѣтилъ Наумъ: такъ вотъ что я говорю тебѣ, мама — я начинаю умирать, мама! Такъ отвѣтилъ Наумъ. Когда же вернулся Давидъ Лейзеръ, мой старый мужъ, я сказала ему: ты все еще твердъ въ непорочности твоей? Похули Бога и умри. Ибо уже начинается умирать сынъ твой Наумъ.

(Сонка плачетъ сильнѣе.)

Пурикесь

(вдругъ озирается испуганно).

А что... А что если люди совсѣмъ перестанутъ покупать?

Сура (пугаясь).

Какъ совсѣмъ?

Пурикесь

(съ возрастающимъ страхомъ).

Такъ, вдругъ люди совсѣмъ перестанутъ покупать.
Что же намъ дѣлать тогда?

Безкрайній (тревожно).

Какъ это можетъ быть, чтобы люди совсѣмъ перестали покупать? Этого не можетъ быть!

Сура.

Этого не можетъ быть!

Пурикесь.

Нѣтъ, можетъ быть! Вдругъ всѣ перестанутъ покупать.

(Всѣ охвачены ужасомъ; даже Сонка перестала плакать и, блѣдная, озираетъ испуганными, черными глазами пустынную дорогу. Безпощадно жжетъ солнце. Вдали, на поворотѣ, показывается Анатэма.)

Сура.

Покупатель!

Пурикесь.

Покупатель!

Сонка.

Покупатель! Покупатель!

(Снова плачетъ. Анатэма подходитъ ближе. На немъ, несмотря на жару, черный сюртукъ изъ тонкаго сукна, черный цилиндръ, черныя перчатки; только бѣлѣетъ галстухъ, придавая всему костюму видъ торжественности и крайней благо-

пристойности. Онъ высокъ ростомъ, и при сѣдыхъ волосахъ строенъ и прямъ. Лицо преданнаго заклѣтію сѣровато-смуглаго цвѣта, очертаній строгихъ и по-своему красивыхъ; когда Анатэма снимаетъ цилиндръ, открывается огромный лобъ, изрѣзанный морщинами, и несоразмѣрно большая голова съ исчерна-сѣдыми вздыбившимися волосами. Столь же уродливой чертою, какъ и чудовищно большой лобъ, является шея Анатэмы: жилистая и крѣпкая, она слишкомъ тонка и длинна, и въ нервныхъ подергиваніяхъ и изгибахъ своихъ носить голову, какъ тяжесть, дѣлаетъ ее странно любопытной, беспокойной и опасной.)

Сура.

Не хотите ли стаканъ содовой воды, господинъ? Жара такая, какъ въ аду, и если не пить, то можно умереть отъ солнечнаго удара.

Безкрайній.

Настоящій боярскій квасъ!

Пурикесь.

Фіалковая вода! Боже мой, фіалковая вода!

Сура.

Содовая, сельтерская!

Безкрайній.

Не пейте ея содовой воды — отъ ея водыдохнутъ крысы, и тараканы становятся на дыбы.

Сура.

Какъ вамъ не стыдно, Иванъ, отбивать покупателя — я же ничего не говорю о вашемъ боярскомъ квасѣ, который могутъ пить только бѣшенныя собаки.

Пурикесь (радостно).

Покупатель! Покупатель! Пожалуйста, ничего не покупайте у меня, мнѣ даже не нужно, чтобы вы у меня покупали — мнѣ нужно, чтобы я видѣлъ васъ. Сонка, ты видишь — покупатель!

Сонка.

Я не вижу. Я не могу видѣть.
(Анатэма снимаетъ цилиндръ, любезно кланяясь всѣмъ.)

Анатэма.

Благодарю васъ. Я съ удовольствіемъ выпью стаканъ содовой воды, и, быть можетъ, даже стаканъ боярскаго квасу. Не мнѣ хотѣлось бы знать, гдѣ здѣсь торговля Давида Лейзера?

Сура (удивленно).

Здѣсь. Вамъ нуженъ Давидъ — я его жена, Сура.

Анатэма.

Да, госпожа Лейзеръ, мнѣ нужно видѣть Давида, Давида Лейзера.

Сура (подозрительно).

Вы пришли сказать что-нибудь плохое: у Давида нѣтъ друзей, которые носили бы платье изъ такого тонкаго сукна. Тогда уходите лучше — Давида нѣтъ, и я не скажу вамъ, гдѣ онъ.

Анатэма (сердечно).

О нѣтъ, не безпокойтесь, сударыня: я ничего не принесъ дурного. Но какъ пріятно видѣть такую любовь — вы очень любите вашего мужа, госпожа.

Лейзеръ? Вѣроятно, онъ очень сильный и здоровый человекъ и зарабатываетъ много денегъ?

Сура (хмурясь).

Нѣтъ, онъ старый и больной, и не можетъ работать. Но онъ ничѣмъ не согрѣшилъ ни противъ Бога, ни противъ людей, и даже враги не посмѣютъ сказать о немъ худое. Вотъ сельтерская вода, господинъ, она лучше, чѣмъ содовая. И если вы не боитесь жары, то прошу васъ, присядьте и подождите немного: Давидъ скоро придетъ сюда.

Анатэма (присаживаясь).

Да, я много хорошаго слыхалъ о вашемъ мужѣ, но не зналъ, что онъ такъ болѣзненъ и старъ. У васъ есть дѣти, госпожа Лейзеръ?

Сура.

Было шестеро, но четверо первыхъ умерли...

Анатэма (сожалѣя).

Ай-ай-ай.

Сура.

Да, мы плохо жили, господинъ. И осталось только двое. Сынъ Наумъ...

Безкрайній.

Бездѣльникъ, который притворяется больнымъ и цѣлый день шатается по городу.

Сура.

Оставьте, Иванъ, какъ вамъ не стыдно порочить честныхъ людей. Наумъ ходитъ затѣмъ, что онъ

долженъ добывать кредитъ. Потомъ, господинъ, у насъ есть дочь, и зовутъ ее Роза. Но, къ сожалѣнію, она слишкомъ красива, слишкомъ красива, господинъ. Счастье, — что такое счастье? Одинъ умираетъ отъ оспы, а другому нужна оспа и нѣтъ ея, и лицо чисто, какъ лепестокъ.

Анатэма

(притворяясь изумленнымъ).

Почему же вы жалѣете объ этомъ? Красота — даръ Божій, которымъ онъ одѣлилъ человѣка и тѣмъ превознесъ его и приблизилъ къ Себѣ.

Сура.

Кто знаетъ? — можетъ быть, даръ Бога, а можетъ быть, и кого-нибудь другого, о комъ я не стану говорить. Но только я не знаю, зачѣмъ человѣку красивые глаза — если онъ долженъ ихъ прятать; зачѣмъ бѣлизна лица — если подъ копотью и грязью онъ долженъ скрывать ее. Слишкомъ опасное сокровище — красота, и легче деньги уберечь отъ грабителя, нежели красоту отъ злого. (Подозрительно.) Не затѣмъ ли вы пришли, чтобы видѣть Розу? — тогда лучше уходите: Розы здѣсь нѣтъ, и я не скажу вамъ, гдѣ она.

Пурикесь.

Покупатель, Сура, смотри: пришелъ покупатель!

Сура.

Да, да, Пурикесь. Но онъ не купить того, зачѣмъ онъ пришелъ, и не найдетъ того, что ищетъ.

(Анатэма, пріятно улыбаясь, съ интересомъ слушаетъ разговоръ; всякій разъ, какъ кто-нибудь начинаетъ говорить, онъ вытягиваетъ шею и поворачиваетъ голову къ говорящему, держа

ее нѣсколько набокъ. Гримасничаетъ, какъ актеръ, выражая то удивленіе, то скорбь или негодованіе. Смѣется, однако, не кстати и этимъ нѣсколько пугаетъ и удивляетъ собесѣдниковъ.)

Безкрайній.

Напрасно ты дорожишься, Сура, и не продаешь, когда покупаютъ. Всякій товаръ залеживается и теряетъ цѣну.

Сура (со слезами).

Какой вы злой, Иванъ. Я же вамъ открыла кредитъ на десять копеекъ, а вы только и знаете, что поносите насъ.

Безкрайній.

Не слушай меня, Сура. Я злой оттого, что голоденъ. Господинъ въ черномъ сюртукѣ, уходите отсюда: Сура честная женщина и не продастъ вамъ дочери, хотя бы вы предлагали милліонъ.

Сура (горячо).

Да, да, Иванъ, благодарю васъ. И кто сказалъ вамъ, господинъ, что наша Роза прекрасна? Это неправда — не смѣйтесь, это неправда, она безобразна, какъ смертный грѣхъ. Она грязна, какъ собака, которая вылезла изъ трюма угольнаго парохода; лицо ея изрыто оспою и похоже на поле, гдѣ берутъ глину и песокъ; и на правомъ глазу у нея бѣльмо, большее бѣльмо, какъ у старой лошади. Взгляните на ея волосы — они словно свалывшаяся шерсть, наполовину растасканная птицами; и она же вѣдь горбится при ходьбѣ, клянусь вамъ, она горбится при ходьбѣ. Если вы ее возьмете, надъ вами всѣ станутъ смѣяться, васъ заплуютъ, вамъ не дадутъ покою уличные мальчишки...

Анатэма (удивленно).

Но я слыхалъ, госпожа Лейзеръ...

Сура (съ тоскою).

Вы ничего не слыхали. Клянусь, вы ничего не слыхали!

Анатэма.

Но вы же сами...

Сура (умоляя).

Развѣ я что-нибудь сказала? Боже мой, но вѣдь женщины такъ болтливы, господинъ; и онѣ такъ любить своихъ дѣтей, что всегда считаютъ ихъ красавицами. Роза — красавица! (Смѣется.) Вы подумайте, Пурикесь, Роза — красавица!

(Смѣется. Со стороны города подходитъ Роза. Волосы ея спутаны, взлохмачены и почти закрываютъ черные, сверкающіе глаза; лицо ея замазано чѣмъ-то чернымъ; одѣта она безобразно. Идетъ она поступью стройной и молодой, но, увидя незнакомаго господина, начинаетъ горбиться, какъ старуха.)

Сура.

Вотъ, вотъ Роза, смотрите, господинъ. Боже мой, какъ она безобразна: Давидъ плачетъ всякій разъ, какъ видитъ ее.

Роза

(оскорбляясь безотчетно и выпрямляя станъ).

Все же есть женщины хуже меня.

Сура (убѣдительно).

Что ты, Роза, нѣтъ въ мірѣ дѣвушки безобразнѣе тебя! (Шепчетъ съ мольбою.) Прячь красоту, Роза! При-

шелъ грабитель, Роза, — прячь красоту. Ночью я сама вымою твое лицо, я сама расчесу твои косы, и ты будешь прекрасна, какъ ангелъ Божій, и мы всѣ станемъ на колѣни и будемъ молиться на тебя. Пришелъ грабитель, Роза! (Громко.) Въ тебя опять бросали камнями?

Роза (хрипло).

Да, бросали.

Сура.

И собаки накидывались на тебя?

Роза.

Да, накидывались.

Сура.

Вотъ видите, господинъ. Даже собаки!

Анатэма (любезно).

Да, повидимому, я ошибся. Къ сожалѣнію, ваша дочь дѣйствительно некрасива, и на нее тяжело смотреть.

Сура.

Конечно, есть дѣвушки и хуже ея, но... Ступай, Розочка, туда, возьми работу — что остается дѣлать бѣдной некрасивой дѣвушкѣ, какъ не работать. Иди, бѣдная Розочка, иди.

(Роза беретъ тряпье для чинки и скрывается за лавкою.
Молчаніе.)

Анатэма.

Вы давно имѣете лавочку, госпожа Лейзеръ?

Сура (успокоенная).

Уже тридцать лѣтъ, съ тѣхъ поръ какъ заболѣлъ Давидъ. Съ нимъ случилось несчастье: когда онъ былъ солдатомъ, его потоптали лошади и испортили ему грудь.

Анатэма.

Развѣ Давидъ былъ солдатомъ?

Безкрайній (вмѣшиваясь).

У Лейзера былъ старшій братъ и былъ онъ мерзавецъ. И звали его Моисей.

Сура (вздыхая).

И звали его Моисей.

Безкрайній.

И когда наступила пора отбывать воинскую повинность, Моисей убѣждалъ на итальянскомъ пароходѣ. И на его мѣсто взяли Давида.

Сура (вздыхая).

Взяли Давида.

Анатэма.

Какая несправедливость!

Безкрайній.

А развѣ вы встрѣчали на свѣтѣ справедливость?

Анатэма.

Конечно, встрѣчалъ. Вы, повидимому, очень несчастный человѣкъ, и вамъ все представляется въ

черномъ цвѣтѣ. Но вы увидите, вы очень скоро увидите, что справедливость существуетъ. (Развязно.) Чортъ возьми, мнѣ нечего дѣлать, и я постоянно гуляю по міру, и ничего я не видѣлъ такъ много, какъ справедливости. Какъ вамъ сказать, госпожа Лейзеръ? — ея больше на землѣ, чѣмъ блохъ на хорошей собакѣ.

Сура (улыбаясь).

Но если ее такъ же трудно ловить, какъ блохъ...

Безкрайній.

И если она кусается, какъ блохи...

(Всѣ смѣются. Со стороны города идетъ измученный шарманщикъ, полуослѣпшій отъ пыли и пота. Хочетъ пройти мимо, но вдругъ въ отчаяніи останавливается и начинаетъ играть что-то ужасное.)

Сура.

Проходите, пожалуйста, проходите. Намъ не нужна музыка.

Шарманщикъ (играетъ).

И мнѣ не нужна музыка.

Сура.

Намъ нечего подать вамъ. Проходите.

Шарманщикъ (играетъ).

Тогда я умру подъ музыку.

Анатѣма (великодушно).

Прошу васъ, госпожа Лейзеръ, дайте ему покушать и воды — я заплачу за все.

Сура.

Какой вы добрый человекъ. Идите, музыкантъ, кушайте и пейте. Но только за воду я съ васъ ничего не возьму, пусть вода будетъ моя.

(Шарманщикъ усаживается и жадно ѣстъ.)

Анатэма (любезно).

Давно вы гуляете по міру, музыкантъ?

Шарманщикъ (угрюмо).

Раньше у меня была обезьяна. — Музыка и обезьяна. Обезьяну заѣли блохи, музыка стала свистѣть, а я ишу дерева, гдѣ бы повѣситься. Вотъ и все.

(Прибѣгаетъ дѣвочка. Смотритъ съ любопытствомъ на шарманщика, потомъ обращается къ Сонкѣ.)

Дѣвочка.

Сонка, Рузя уже умеръ.

Сонка.

Уже?

Дѣвочка.

Ну да, умеръ. Можно мнѣ взять сѣмячекъ?

Сонка (закрывая лавку).

Можно. Сура, если придетъ покупатель, скажите, что я завтра буду опять торговать, а то онъ по-думаетъ, что лавка совсѣмъ закрыта. Вы слышали: Рузя умеръ.

Сура.

Уже?

Дѣвочка.

Ну да, умеръ. А музыкантъ будетъ играть?
(Анатэма шепчется съ Сурой и что-то суетъ ей въ руку.)

Сура.

Сонка, нате вамъ рубль, видите — рубль?

Безкрайній.

Вотъ оно — счастье! Вчера курица, нынче рубль.
Бери, Сонка!

(Всѣ съ жадностью смотрятъ на серебряный рубль. Сонка
съ дѣвочкой уходятъ.)

Сура.

Вы очень богаты, господинъ.

Анатэма (самодовольно).

Н-да! У меня большая практика — я адвокатъ.

Сура (быстро).

У Давида нѣтъ долговъ.

Анатэма.

О, я вовсе не за этимъ, госпожа Лейзеръ. Когда
вы узнаете меня ближе, то вы увидите, что я только
приношу, но не беру, только дарю, но не отнимаю.

Сура

(съ нѣкоторымъ страхомъ).

Развѣ вы пришли отъ Бога?

Анатэма.

Было бы слишкомъ много чести для меня и для васъ, госпожа Лейзеръ, если бъ я пришелъ отъ Бога. Нѣтъ, я отъ себя.

(Подходитъ Наумъ, съ удивленіемъ смотритъ на покупателя и устало садится на камень. Это высокій, худой юноша съ птичьей грудью и большимъ, блѣднымъ носомъ. Озирается.)

Наумъ.

Гдѣ же Роза?

Сура (шопотомъ).

Тише, она тамъ. (Громко.) Ну, такъ какъ же, Наумъ, добылъ ты кредитъ?

Наумъ (вяло).

Нѣтъ, мама, я не добылъ кредита. Я начинаю умирать, мама: всѣмъ жарко, а мнѣ очень холодно; и я потѣю, но потъ у меня холодный. Я встрѣтилъ Сонку — Рузя уже умеръ?

Сура.

Ты еще поживешь, Наумъ, ты еще поживешь.

Наумъ (вяло).

Да, я еще поживу. Что же не идетъ отецъ? Ему уже пора идти.

Сура.

Чисти селедку, Роза. Вотъ этотъ господинъ уже давно ждетъ Давида, а Давида все нѣтъ.

Наумъ.

Зачѣмъ?

Сура.

Не знаю, Наумъ. Если пришелъ, значить, нужно.
(Молчаніе.)

Наумъ.

Мама, я больше не буду добывать кредитъ. Я буду съ отцомъ ходить на берегъ моря. Мнѣ уже настало время спросить Бога о моей Судьбѣ.

Сура.

Не спрашивай, Наумъ, не спрашивай.

Наумъ.

Нѣтъ, я спрошу Его.

Сура (умоляя).

Не надо, Наумъ, не спрашивай.

Анатэма.

Отчего же, госпожа Лейзеръ? Развѣ вы боитесь, что Богъ ему отвѣтитъ что-нибудь плохое? Нужно больше вѣры, госпожа Лейзеръ, если бы васъ слышалъ Давидъ, онъ не одобрилъ бы вашихъ словъ.

Шарманщикъ (поднимая голову).

Это ты, молодой еврей, хочешь говорить съ Богомъ?

Наумъ.

Да, это я. Всякій человѣкъ можетъ говорить съ Богомъ.

Шарманщикъ.

Ты думаешь? Тогда попроси новую шарманку. Скажи, что эта свистить.

Анатэма (сочувственно).

Онъ можетъ добавить, что обезьяну съѣли блохи — нужна новая обезьяна!

(Смѣется. Всѣ съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ смотрятъ на него, кромѣ шарманщика, который встаетъ и молча берется за шарманку.)

Сура.

Ты что хочешь дѣлать, музыкантъ?

Шарманщикъ.

Я хочу играть.

Сура.

Зачѣмъ? Намъ не нужно музыки.

Шарманщикъ.

Я долженъ поблагодарить васъ за доброту.

(Играетъ что-то ужасное; шарманка скрипитъ, обрываетъ, свистить. Анатэма, поднявъ мечтательно къ небу глаза, отмѣчаетъ рукою едва уловимый тактъ и подсвистываетъ.)

Сура.

Боже мой, какъ скверно!

Анатэма.

Это, госпожа Лейзеръ... (подсвистываетъ)... называется міровая гармонія.

(На нѣкоторое время разговоръ умолкаетъ: слышится только прерывистый вой шарманки да мечтательное посвистываніе Анатэмы. Солнце жжетъ беспощадно.)

Анатэма (въ упоеніи).

Мнѣ нечего дѣлать, и я гуляю по міру.
(Увлекается все больше. Внезапно шарманка обрываетъ хрипло свистящимъ звукомъ, который долго еще звенить въ ушахъ, и Анатэма замираетъ съ поднятою рукой.)

Анатэма (въ недоумѣніи).

Она у васъ всегда такъ кончается?

Шарманщикъ.

Бываетъ хуже. Прощайте.

Анатэма

(роясь въ жилетномъ карманѣ).

Нѣтъ, нѣтъ, не уходите такъ... Вы мнѣ доставили искреннее наслажденіе, и я не хочу, чтобы вы удавились. Вотъ вамъ мелочь — живите себѣ.

Сура

(въ пріятномъ удивленіи).

Кто бы могъ подумать, глядя на ваше лицо, что вы такой веселый и добрый человѣкъ.

Анатэма (польщенный).

О, не смущайте меня, госпожа Лейзеръ, вашими похвалами. Отчего же не помочь бѣдному человѣку, который можетъ иначе умереть. Но не Давидъ ли Лейзеръ этотъ почтенный человѣкъ, котораго я вижу тамъ?

(Всматривается туда, гдѣ дорога заворачиваетъ вправо.)

Сура (также вглядываясь).

Да, это Давидъ.

(Всѣ молча ожидаютъ. На пыльной дорогѣ, изъ-за поворота, показывается Давидъ Лейзеръ, медленно идущій. Онъ высо-

каго роста, костлявъ, съ длинными, сѣдыми кудрями и такою же бородой; на головѣ высокій, куполообразный черный картузь, въ рукѣ посохъ, которымъ Давидъ какъ бы измѣряетъ дорогу. Смотритъ внизъ изъ-подъ косматыхъ, нависшихъ бровей, и такъ, не поднимая глазъ, медленно и серьезно подходитъ къ сидящимъ и останавливается, опершись обѣими руками на посохъ.)

Сура (вставая, почтительно).

Ты гдѣ былъ, Давидъ?

Давидъ (не поднимая глазъ).

Я былъ на берегу моря.

Сура.

Что ты тамъ дѣлалъ, Давидъ?

Давидъ.

Я смотрѣлъ на волны, Сура, и спрашивалъ ихъ: откуда пришли онѣ и куда идутъ? Я думалъ о жизни, Сура: откуда пришла она, и куда она идетъ?

Сура.

Что же сказали волны, Давидъ?

Давидъ.

Онѣ ничего не сказали, Сура... Онѣ приходятъ и вновь уходятъ, и человѣкъ на берегу моря напрасно ждетъ отвѣта отъ моря.

Сура.

Съ кѣмъ ты разговаривалъ, Давидъ?

Давидъ.

Я говорилъ съ Богомъ, Сура. Я спрашивалъ Его о судьбѣ Давида Лейзера, стараго еврея, который скоро долженъ умереть.

Сура (съ трепетомъ).

Что же сказалъ тебѣ Богъ?

(Давидъ молчитъ, потупивъ глаза.)

Сура.

Нашъ сынъ Наумъ также хочетъ быть съ тобою на берегу моря и спрашивать о своей судьбѣ.

Давидъ (поднимая глаза).

Развѣ Наумъ скоро долженъ умереть?

Наумъ.

Да, отецъ: я уже началъ умирать.

Анатэма.

Но, позвольте, господа... Зачѣмъ говорить о смерти, когда я принесъ вамъ жизнь и счастье?

Давидъ (поворачивая голову).

Развѣ вы пришли отъ Бога? Сура, кто онъ, что можетъ говорить такъ?

Сура.

Я не знаю. Онъ давно ждетъ тебя.

Анатэма

(съ радостной суетливостью).

Ахъ, господа, да улыбнитесь же вы! Одна только

минута вниманія, и я заставлю всѣхъ смѣяться! Вниманіе, господа! Вниманіе!

(Всѣ съ напряженнымъ вниманіемъ смотрять въ ротъ Анатэмѣ.)

Анатэма

(вынимая бумагу, торжественно).

Не вы ли Давидъ Лейзеръ, сынъ Абрама Лейзера?

Давидъ (испуганно).

Ну, я. Но можетъ быть — есть еще другой Давидъ Лейзеръ, я не знаю — спросите у людей.

Анатэма

(останавливая его жестомъ).

Не было ли у васъ брата Моисея Лейзера, который тридцать-пять лѣтъ тому назадъ на итальянскомъ пароходѣ „Фортуна“ бѣжалъ въ Америку?

Всѣ.

Да, былъ.

Давидъ.

Но я не зналъ, что онъ въ Америкѣ.

Анатэма.

Давидъ Лейзеръ, вашъ братъ Моисей — умеръ!

(Молчаніе.)

Давидъ.

Я давно простилъ его.

Анатэма.

И умирая, все свое состояніе, равняющееся двумъ милліонамъ долларовъ (къ окружающимъ), — что составляетъ четыре милліона рублей, — оставилъ вамъ, Давидъ Лейзеръ.

(Проносится какой-то широкий вздохъ, и всѣ окаменѣваютъ).

Анатэма (протягивая бумагу).

Вотъ документъ, видите — печать!

Давидъ (отталкивая бумагу).

Нѣтъ, не надо, не надо. Вы не отъ Бога! Богъ не сталъ бы такъ шутить надъ человѣкомъ.

Анатэма (сердечно).

Ахъ, какія тутъ шутки. Честное слово, правда — четыре милліона! Позвольте мнѣ первому принести поздравленія и горячо пожать вашу честную руку. (Беретъ руку Давида и трясетъ ее.) Ну-съ, госпожа Лей-Лейзеръ, что же я вамъ принесъ? И что же вы скажете теперь: красива ваша Роза или безобразна? Ага! И станете ли вы умирать теперь, Наумъ? Ага! (Со слезами.) Вотъ, что принесъ я вамъ, люди, а теперь позвольте мнѣ отойти... и не мѣшать...

(Подноситъ платокъ къ глазамъ и отходитъ къ сторонѣ, видимо, взволнованный.)

Сура (дико).

Роза!

Роза (также дико).

Что, мама?

Сура.

Мой лицо! Мой лицо, Роза! Боже мой, да скорѣй же, скорѣй мой лицо!

(Словно помѣшанная тормошитъ Розу, моегъ ее, расплескивая воду дрожащими руками. Наумъ схватилъ отца за руку и почти повисъ на немъ; кажется, что онъ сію минуту лишится сознанія.)

Давидъ.

Возьмите бумагу назадъ. (Настойчиво.) Возьмите бумагу назадъ!

Сура.

Ты съ ума сошелъ, Давидъ. Не слушайте его. Мой, Розочка, мой! Пусть люди увидятъ твою красоту!

Наумъ (хватая бумагу).

Это наша, отецъ. Отецъ, — вотъ чѣмъ отвѣтилъ тебѣ Богъ. Посмотри на мать, посмотри на Розу — на меня посмотри, вѣдь я уже началъ умирать.

Пурикесъ (кричитъ).

Ай, ай, смотрите, они разорвутъ бумагу. Ай, ай, скорѣе берите отъ нихъ бумагу!

(Наумъ плачетъ. Блистая красотою, съ мокрыми, но уже не закрывающими глазъ волосами, становится передъ отцомъ смѣющаяся Роза.)

Роза.

Это я, отецъ! Это я! Это... я!

Сура (дико).

Гдѣ ты была, Роза?

Роза.

Меня не было, мама! Я родилась, мама!

Сура.

Смотри, Давидъ, смотри: уже родился человѣкъ. Охъ, да смотрите на нее всѣ! Охъ, да раскройте же двери передъ зрѣніемъ вашимъ, ворота распахните передъ глазами — смотрите на нее всѣ!

(И вдругъ Давидъ понимаетъ значеніе случившагося. Сбрасываетъ съ головы картузъ, рветъ одежду, которая душитъ его; и, расталкивая всѣхъ, бросается къ Анатѣмѣ.)

Давидъ (грозно).

Ты зачѣмъ это принесъ?

Анатѣма (кротко)

Но позвольте, господинъ Лейзеръ, я только адвокатъ. Я радъ искренне.

Давидъ.

Ты зачѣмъ это принесъ?

(Съ силою отталкиваетъ Анатѣму, и, шатаясь, уходитъ по дорогѣ. Вдругъ останавливается, оборачивается назадъ и кричить, потрясая руками.)

Давидъ.

Гоните его — это Діаволъ. Вы думаете, четыре милліона рублей онъ принесъ? Нѣтъ, онъ принесъ четыре милліона оскорбленій! Четыре милліона насмѣшекъ онъ бросилъ на голову Давида!... Четыре океана горькихъ слезъ пролилъ я надъ жизнью, четырьмя вѣтрами земли были мои вздохи, четверыхъ дѣтей моихъ сожрали голодъ и болѣзни, — и теперь,

когда я долженъ умереть, когда я старъ и долженъ умереть, мнѣ приносятъ четыре милліона. Вернуть ли они мнѣ молодость, которую я провелъ въ лишеніяхъ, тѣснимый скорбями, облаченный печалью, увѣнчанный тоской? Вернуть ли они хоть одинъ день голода моего, хоть одну слезу, павшую на камень, хоть одинъ плевокъ, брошенный мнѣ въ лицо? Четыре милліона проклятій — вотъ что значать твои четыре милліона рублей!... О, Ханна, о Веніаминъ и Рафаиль, о мой маленькій Мойше, вы, мои маленькія птички, умершія отъ холода на голыхъ вѣтвяхъ зимы—что вы скажете, если вашъ отецъ коснется этихъ денегъ? Нѣтъ, мнѣ не надо денегъ. Мнѣ не надо денегъ, говорю я вамъ, я, старый еврей, умирающій отъ голода. Здѣсь я не вижу Бога. Но я пойду къ Нему, я скажу Ему: что ты дѣлаешь съ Давидомъ?... Я иду.

(Уходитъ, потрясая руками.)

Сура (плачетъ).

Давидъ, вернись, вернись!

Пурикесь (въ отчаяніи).

Бумагу-то, бумагу-то поднимите!

Анатэма (вертится).

Успокойтесь, госпожа Лейзеръ, онъ вернется. Это всегда такъ сначала. Я много гулялъ по міру и знаю это. Кровь бросается въ голову, ноги дрожатъ, и человѣкъ проклинаятъ. Это пустяки!

Роза.

Какое кривое зеркало, мама!

Наумъ (плачетъ).

Мама, куда ушелъ отецъ? Я хочу жить.

Анатэма.

Бросьте этотъ кусокъ стекла, Роза. Вашу красоту отразятъ люди, вашу красоту отразитъ міръ — въ него вы будете глядѣться... Ахъ, вы еще здѣсь, музыкантъ? Такъ сыграйте же намъ, я прошу васъ: такой праздникъ нельзя безъ музыки.

Шарманщикъ.

То же самое играть?

Анатэма.

То же самое.

(Шарманка воетъ и свиститъ. Анатэма яростно подсвистываетъ, размахивая руками и точно благословляя всѣхъ музыкой и свистомъ.)

Занавѣсъ.

Третья картина.

Третья картина.

Давидъ Лейзеръ живетъ богато. По настоянію жены и дѣтей онъ нанялъ богатую виллу на берегу моря, завелъ многочисленную прислугу, лошадей и экипажи. Анатэма, подъ тѣмъ предлогомъ, что его утомила адвокатская практика, устроился у Давида личнымъ секретаремъ. Къ Розѣ ходятъ учителя и учительницы, даютъ ей уроки языковъ и хорошаго тона, къ Науму же, который окончательно разболѣлся и уже близокъ къ смерти, ходитъ по его желанію только одинъ учитель танцевъ. Деньги изъ Америки еще не получены, но Давиду Лейзеру, миллионеру, открыть широкій кредитъ — впрочемъ, больше на вещи и товаръ, чѣмъ на наличныя деньги, которыхъ нѣсколько не хватаетъ.

Сцена представляетъ собою богатый залъ, отдѣланный бѣлымъ мраморомъ, съ огромными итальянскими окнами и выходомъ на веранду. Полдень. За раскрытыми окнами видны полутропическія растенія, и глубоко синѣетъ море: въ одно изъ оконъ открывается видъ на городъ.

У стола сидитъ Давидъ Лейзеръ, очень мрачный. Нѣсколько поодаль, на диванѣ расположилась Сура, одѣта богато, но безвкусно, и смотритъ, какъ Наумъ учится танцевать. Наумъ очень блѣденъ, кашляетъ и почти шатается отъ слабости, особенно, если по правиламъ танца ему приходится стоять на одной ногѣ, но учится настойчиво; одѣтъ весьма элегантно, только необычайно пестрый жилетъ яркихъ цвѣтовъ да такой же галстухъ нѣсколько портятъ впечатлѣніе

Вокругъ Наума вертится, балансируя, присѣдая, учитель танцевъ со скрипкою и смычкомъ въ рукахъ, — человѣкъ изящества и легкости необыкновенныхъ: бѣлый жилетъ, лакированные туфли, смокингъ.

И на все это, съ видомъ печальнымъ и укоризненнымъ, смотреть Анатэма, стоящій у входа.

Учитель

Разъ-два-три, разъ-два-три!

Сура.

Смотри, Давидъ, смотри, какъ удастся нашему Науму танецъ. Ъ бы ни за что не сумѣла такъ прыгать — бѣдный мальчикъ!

Давидъ.

Я вижу.

Учитель.

Мсье Наумъ очнь талантливъ. Прошу васъ... разъ-два-три, разъ-два-три! Позвольте, позвольте, немножко не такъ! Па нужно дѣлать отчетливѣй, изящно округляя жетъ правой ногой. Вотъ такъ — вотъ такъ (показываетъ). Танцы, мадамъ Лейзеръ, совсѣмъ, какъ математика, тутъ нуженъ циркуль!

Сура.

Ты слышишь, Давидъ?

Давидъ.

Слышу.

Учитель.

Прошу васъ, м-сье Наумъ. Разъ-два-три, разъ-два-три! (Играетъ на скрипкѣ.)

Наумъ (задыхаясь).

Разъ-два-три! Разъ-два-три!

(Кружится и вдругъ почти падаетъ. Останавливается съ лицомъ измученнымъ и безкровнымъ и смотритъ омертвѣло — его душитъ кашель. Откашлявшись, продолжаетъ.)

Наумъ.

Разъ-два-три!

Учитель.

Такъ, такъ, м-сье Наумъ. Больше изящества, больше изящества, умоляю васъ! Разъ, два, три!

(Играетъ. Анатэма осторожно подходитъ къ Сурѣ и говорить, сдерживая голосъ, но настолько громко, чтобы его слышалъ Давидъ.)

Анатэма.

Не кажется ли вамъ, госпожа Лейзеръ, что Наумъ нѣсколько утомленъ? Этотъ учитель танцевъ не знаетъ жалости.

Давидъ (обращиваясь).

Да, довольно. Ты, Сура, готова замучить юношу.

Сура (ратерянно).

Да при чемъ же я тутъ, Давидъ, развѣ я не вижу, что онъ усталъ — но онъ самъ хочетъ танцевать. Наумъ, Наумъ!

Давидъ.

Довольно, Наумъ. Отдохни

Наумъ (задыхаясь).

Я хочу танцевать. (Останавливается и истерически топаетъ ногою.) Почему мнѣ не позволяютъ танцевать? — или всѣ хотятъ, чтобы я скорее умеръ?

Сура.

Ты еще поживешь, Наумъ, ты еще поживешь.

Наумъ (почти плача).

Почему мнѣ не позволяютъ танцовать? Я хочу танцовать. Я довольно добывалъ кредитъ, я хочу веселиться. Развѣ я старикъ, чтобы лежать на постели и кашлять. Кашлять, кашлять!

(Кашляетъ и плачетъ одновременно. Анатэма что-то шепчетъ учителю танцевъ, и тотъ, изящно поднявъ плечи въ знакъ соболѣзнованія, утвердительно киваетъ головой и собирается уходить.)

Учитель.

До завтра, м-сье Наумъ. Я боюсь, что нашъ урокъ нѣсколько затянулся.

Наумъ.

Завтра... непременно приходите! Вы слышите? Я хочу танцовать.

(Учитель уходить, раскланиваясь. Наумъ молодцоватой походкой идетъ за нимъ.)

Наумъ.

Завтра же непременно, вы слышите? Непременно!

(Уходятъ.)

Анатэма.

О чемъ вы задумались, Давидъ? Позвольте мнѣ быть не только вашимъ личнымъ секретаремъ — хотя я горжусь этой честью, — но и вашимъ другомъ. Съ тѣхъ поръ, какъ получены деньги, васъ угнетаетъ темная печаль, и мнѣ больно глядѣть на васъ.

Давидъ.

Чему же мнѣ радоваться, Нуллюсь?

Сура.

А Роза? Не грѣши передъ Богомъ, Давидъ — не на ея ли красотѣ и молодости отдыхаютъ наши глаза? Прежде даже тихая луна не смѣла взглянуть на нее, звѣзда звѣздѣ не смѣла о ней шепнуть — а теперь она ѣдетъ въ коляскѣ, и всѣ смотрятъ на нее, и всадники скачутъ за нею. Вы подумайте, Нуллюсь, — всадники скачутъ за нею.

Давидъ.

А Наумъ?

Сура.

Такъ что же Наумъ? Онъ давно боленъ, ты знаешь это, и смерть на мягкой постели не хуже, чѣмъ смерть на мостовой. А можетъ быть, онъ еще поживетъ, онъ еще поживетъ. (Плачетъ.) Давидъ, тамъ во дворѣ тебя ожидаютъ Абрамъ Хессинъ и дѣвочка отъ Сонки.

Давидъ (угрюмо).

Что имъ надо, денегъ? Дай имъ, Сура, нѣсколько грошей и отпусти ихъ.

Сура.

Въ концѣ концовъ они вытянутъ у насъ всѣ деньги, Нуллюсь. Я уже второй разъ даю Хессину. Онъ какъ песокъ, и сколько въ него ни лить воды, онъ всегда будетъ сухъ и жаденъ.

Давидъ.

Пустяки, денегъ у насъ слишкомъ много, Сура. Но мнѣ тяжело смотрѣть на людей, Нуллюсь. Съ тѣхъ поръ, какъ вы принесли намъ это богатство...

Анатэма.

Которое вы заслужили вашими страданіями, Лейзеръ.

Давидъ.

Съ тѣхъ поръ люди такъ нехорошо измѣнились. Вы любите, когда вамъ кланяются слишкомъ низко, Нуллюсь? А я не люблю — люди не собаки, чтобы ползать на брюхѣ. А вы любите, Нуллюсь, когда люди вамъ говорятъ, что вы самый мудрый, самый великодушный, самый лучшій изъ живущихъ — въ то время, какъ вы обыкновенный старый еврей, какихъ много. Я не люблю, Нуллюсь: для сыновъ Бога правды и милости непристойно говорить ложь, даже умирая отъ жестокостей правды.

Анатэма (задумчиво).

Богатство — страшная сила, Лейзеръ. Никто не спрашиваетъ васъ о томъ, откуда у васъ деньги: они видятъ могущество ваше и поклоняются ему.

Давидъ.

Могущество? А Наумъ? А я самъ Нуллюсь? — Могу ли я за всѣ деньги купить хоть одинъ день здоровья и жизни.

Анатэма.

Вы выглядите значительно свѣжѣе.

Давидъ (усмѣхаясь мрачно).

Да? Не взять ли и мнѣ учителя танцевъ — посо-
вѣтуйте, Нуллюсь.

Сура.

Не забывай же Розу, отецъ. Развѣ скрывать кра-
соту лица — не великій грѣхъ передъ Господомъ?
На радость и услажденіе взорамъ дается она, въ кра-
сотѣ лица являетъ красоту свою самъ Богъ, и не на
Бога ли ежедневно поднимали мы руку, когда углемъ
и сажеею пятнали лицо нашей Розы, страшилищемъ и
тоскою для взоровъ дѣлали ее.

Давидъ.

Красота вянетъ. Все умираетъ, Сура.

Сура.

Но и лилія вянетъ и умираетъ нарцисъ, осыпа-
ются лепестки желтой розы — захочешь ли ты, Давидъ,
потоптать всѣ цвѣты и желтую розу осквернить ху-
лою? Не сомнѣвайся, Давидъ: справедливый Богъ
далъ тебѣ богатство — и ты, который былъ въ не-
счастіи такъ твердъ, что ни разу не похулилъ Бога,
станешь ли слабъ въ счастіи?

Анатэма.

Совершенно справедливо, госпожа Лейзеръ. У
Розы уже столько жениховъ, что ей стоитъ только
выбирать.

Давидъ (вставая, гнѣвно).

Я не отдамъ имъ Розу!

Сура.

Ну что ты, Давидъ.

Давидъ.

Я не отдамъ имъ Розу! Собаки, которыя хотятъ лакать изъ золотого блюда — я выгоню собакъ!

(Входитъ Роза. Одѣта она богато, но просто и безъ излишествъ; немного блѣдна она, утомлена слегка, но очень красива — кажется, что отъ нея тянутся лунныя тѣни и лучи. И говорить и двигаться она старается красиво, внимательно слѣдить за собою, но минутами срывается — становится груба, криклива. И мучается этимъ. Розу сопровождаютъ двое господъ въ костюмахъ для верховой ѣзды. Тотъ изъ нихъ, что постарше, очень блѣденъ и хмурится мрачно и злобно. И, прижимаясь къ Розѣ, точно ища защиты у ея молодости, силы и красоты, слабо плетется Наумъ.)

Давидъ (довольно громко).

Сура — женихи.

Сура (машетъ рукой).

Ахъ, да замолчи же, Давидъ.

Роза (небрежно цѣлуя мать).

Какъ я устала, мама. Здравствуй, отецъ.

Сура.

Береги себя, Розочка: нельзя заниматься такъ много. (Къ господину, который постарше.) Хоть вы скажите ей, что нельзя такъ много работать — зачѣмъ ей теперь работа.

Молодой господинъ (тихо).

На вашу дочь нужно молиться, госпожа Лейзеръ. Скоро ей воздвигнуть храмъ.

Господинъ постарше (усмѣхаясь).

А при храмъ — кладбище. При храмахъ, госпожа Лейзеръ, всегда существуютъ кладбища.

Роза.

До свиданія. Я устала. Если вы свободны, то приѣзжайте завтра утромъ, — можетъ быть, я опять поѣду съ вами.

Господинъ постарше

(пожимая плечами).

Свободны? О да, конечно, мы вполне свободны.
(Рѣзко.) До свиданія!

Второй (со вздохомъ).

До свиданія!

(Уходятъ.)

Сура (безпокойно).

Розочка, ты, кажется, его обидѣла. Зачѣмъ ты такъ?

Роза.

Ничего, мама.

Анатэма (Давиду).

Ну это еще не женихи, Давидъ!

(Давидъ хмуро смѣется. Анатэма же, не выдержавъ характера, подлетаетъ къ Розѣ и предлагаетъ ей руку. Ведетъ ее въ полупляскѣ, весело насвистывая тотъ же мотивъ, что и шарманка.)

Анатэма.

Ахъ, Роза, если бы не мои года (насвистываетъ) и не болѣзни (насвистываетъ), я былъ бы первымъ претендентомъ на вашу руку.

Роза (смѣясь, надменно).

Лучше болѣзни, чѣмъ смерть.

Давидъ.

А вы очень веселый человекъ, Нуллюсь.

Анатэма (насмистывая).

Отсутствіе богатства и спокойная совѣсть, Давидъ, спокойная совѣсть. Мнѣ нечего дѣлать, и я гуляю подъ ручку. Такъ вы говорите — смерть, Роза?

Роза.

Попробуйте.

Анатэма (останавливаясь).

А вы и въ самомъ дѣлѣ красивы, Роза! (Задумчиво.) А что если... если... но нѣтъ: долгъ выше всего. Послушайте меня, Роза: не отдавайте себя меньше, чѣмъ князю, хотя бы и князю тьмы!

Наумъ.

Розочка, зачѣмъ же ты отошла отъ меня. Мнѣ холодно, когда ты не держишь меня за руку. Держи меня за руку, Розочка.

Роза (колеблясь).

Но я должна переодѣться, Наумъ.

Наумъ.

Я провожу тебя до спальни. Ты знаешь, сегодня я опять танцозалъ, и очень хорошо, знаешь ли? Я теперь уже не такъ задыхаюсь. (Съ чувствомъ обожанія и легкой зависти). Какая ты красавица, Розочка.

Сура.

Подожди, Розочка, я сама расчесу тебѣ волосы. Ты позволишь?

Роза.

Вы плохо дѣлаете это, мама; вы больше цѣлуете, чѣмъ расчесываете — волосы путаются отъ поцѣлуевъ

Давидъ.

Ты отвѣчаешь матери, Роза.

Роза (останавливаясь).

За что ты ненавидишь мою красоту, отецъ?

Давидъ.

Прежде я любилъ твою красоту, Роза.

Сура (возмущенно).

Ну что ты говоришь, Давидъ!

Давидъ.

Да, Сура. Я люблю жемчугъ, пока онъ на днѣ моря; когда же его вынимають, онъ становится кровью, — и тогда я не люблю жемчуга, Сура.

Роза.

За что ты ненавидишь мою красоту, отецъ? Ты знаешь ли, что сдѣлала бы другая дѣвушка на моемъ мѣстѣ — она сошла бы съ ума и завертѣлась бы по землѣ, какъ собака, которая проглотила булавку. А что дѣлаю я? Я учусь, отецъ. Дни и ночи я учусь, отецъ. (Въ сильномъ волненіи.) Вѣдь я не умѣю ничего. Я не умѣю говорить, я даже ходить не умѣю — вѣдь я горблюсь, я горблюсь при ходьбѣ!

Сура.

Это неправда, Роза.

Роза (волнуясь).

Вотъ я забылась немного — и я уже кричу, каркаю хрипло, какъ простуженная ворона. Я хочу быть красивой, я должна быть красивой, — я только за этимъ и родилась. Ты смѣешься? Напрасно. Ты знаешь ли, что твоя дочь будетъ герцогиней — принцессой? Къ моей коронѣ я хочу добавить и скипетръ.

Анатэма.

Ого!

(Тѣ трое уходятъ. Давидъ, выждавъ ихъ ухода, гнѣвно вскакиваетъ съ мѣста и быстро ходитъ по комнатѣ.)

Давидъ.

Какая комедія! Какая комедія, Нуллюсь! Вчера она просила у Неба селедку, а сегодня ей мало короны. Завтра же она отниметъ престолъ у Сатаны, и сядетъ на него, Нуллюсь, и будетъ сидѣть крѣпко! Какая комедія!

(Анатэма уже измѣнилъ свой видъ: онъ строгъ и мраченъ.)

Анатэма.

Нѣтъ, это трагедія, Давидъ Лейзеръ.

Давидъ.

Комедія, Нуллюсь, комедія — развѣ ты не слышишь во всемъ этомъ смѣха Сатаны? (Показывая рукой на дверь.) Ты видѣлъ трупъ, который танцуетъ — каждое утро я вижу его.

Анатэма.

Развѣ Наумъ такъ опасенъ?

Давидъ.

Опасенъ? Три доктора, три важныхъ господина, Нуллюсь, смотрѣли его вчера и сказали мнѣ тихонько, что черезъ мѣсяцъ Наумъ умретъ, что сейчасъ онъ уже трупъ больше, чѣмъ на половину — не сонъ ли это, Нуллюсь? Не смѣхъ ли это Сатаны?

Анатэма.

А что они сказали о вашемъ здоровьѣ, Давидъ?

Давидъ.

Я не сталъ ихъ спрашивать. Я не хочу, чтобы мнѣ сказали: вы можете также прыгать подъ музыку, Давидъ. Какъ вамъ это нравится, Нуллюсь: два трупа, танцующихъ въ бѣлой мраморной комнатѣ?

(Смѣется мрачно и зло.)

Анатэма.

Вы меня пугаете, мой другъ. Что дѣлается въ вашей душѣ?

Давидъ.

Не касайтесь моей души, Нуллюсь — въ ней ужась.

(Хватается руками за голову.)

Ахъ что же мнѣ дѣлать, что же мнѣ дѣлать? Я одинъ во всемъ мірѣ.

Анатэма.

Что съ вами, Давидъ? Успокойтесь.

Давидъ

(останавливаясь передъ Анатэмой, съ ужасомъ).

Смерть, Нуллюсь, смерть! вы принесли намъ смерть.

Не былъ ли я безгласенъ передъ смертью? Не ждалъ ли я ее, какъ друга? Но вотъ вы принесли богатство — и я хочу танцевать. Я хочу танцевать, а смерть хватаетъ меня за сердце; я хочу ѣсть, ибо въ самыя кости мои вошелъ голодъ, — а старый желудокъ извергаетъ пищу обратно; я хочу смѣяться, — а лицо мое плачетъ, а глаза мои слезятся, а душа моя воетъ отъ смертельнаго страха. Въ костяхъ моихъ голодъ, и уже въ крови моей ядъ — нѣтъ мнѣ спасенія: постигла смерть!

(Тоскуеть.)

Анатэма (многозначительно).

Васъ ждутъ бѣдные, Давидъ.

Давидъ.

Ну, такъ что же?

Анатэма.

Васъ ждутъ бѣдные, Давидъ.

Давидъ.

Бѣдные всегда ждутъ.

Анатэма (строго).

Теперь я вижу, что ты дѣйствительно погибъ, Давидъ. Тебя покинулъ Богъ.

(Давидъ останавливается и смотритъ изумленно и гнѣвно. Анатэма, надменно закинувъ голову, спокойно и строго держиваетъ его взглядъ. Молчаніе.)

Давидъ.

Это мнѣ вы говорите, Нуллюсь?

Анатэма.

Да, это вамъ я говорю, Давидъ Лейзеръ. Будьте осторожны, Давидъ Лейзеръ, — вы во власти Сатаны.

Давидъ (пугаясь).

Мой другъ Нуллюсь, вы пугаете меня; чѣмъ заслужилъ я вашъ гнѣвъ и эти жестокия и страшныя слова? Вы всегда такъ хорошо относились ко мнѣ и къ моимъ дѣтямъ... Ваши волосы такъ же сѣды, какъ и мои, въ чертахъ вашихъ я давно уже замѣтилъ скрытую муку и... я уважаю васъ, Нуллюсь! Зачѣмъ же вы молчите? Какой-то страшный огонь горитъ въ вашихъ глазахъ, — кто вы, Нуллюсь? Но вы молчите... Нѣтъ, нѣтъ, не опускайте глазъ, мнѣ еще страшнѣй, когда опущены они: тогда на вашемъ челѣ проступаютъ огненные письма какой-то смутной, какой-то страшной — смертельной правды!

Анатэма (нѣжно).

Давидъ!

Давидъ (радостно).

Ты заговорилъ, Нуллюсь?

Анатэма.

Молчи и слушай меня! Отъ безумія я верну тебя къ разуму, отъ смерти — къ жизни.

Давидъ.

Молчу и слушаю.

Анатэма.

Твое безуміе въ томъ, Давидъ Лейзеръ, что ты

всю жизнь искалъ Бога, а когда Богъ пришелъ къ тебѣ — ты сказалъ: — я Тебя не знаю. Твоя смерть въ томъ, Давидъ Лейзеръ, что, ослѣпленный несчастіями, какъ лошадь, которая въ темнотѣ вертитъ кругъ свой, ты не увидѣлъ людей и одинокъ остался среди нихъ, со своею болѣзнью и богатствомъ своимъ. Тамъ во дворѣ тебя ждетъ жизнь, а ты, слѣпецъ, закрываешь передъ нею двери. Танцуй, Давидъ, танцуй — смерть подняла смычокъ и ждетъ тебя! Больше граціи, Давидъ Лейзеръ, больше граціи, ловчѣе закругляйте па!

Давидъ.

Чего ты хочешь отъ меня?

Анатэма.

Верни Богу, что далъ тебѣ Богъ.

Давидъ (мрачно).

А развѣ что-нибудь далъ мнѣ Богъ?

Анатэма.

Каждый рубль въ твоемъ карманѣ — это ножъ, который ты вонзаешь въ сердце голоднаго. Раздай имѣніе нищимъ, дай хлѣбъ голоднымъ — и ты побѣдишь смерть.

Давидъ.

Корки хлѣба не дали Давиду, когда онъ былъ голоденъ — ихъ ли сытостью насыщу свой голодъ, который въ костяхъ?

Анатэма.

Въ нихъ будешь сытъ.

Давидъ.

Верну ли здоровье и силу?

Анатэма.

Въ нихъ будешь силенъ.

Давидъ.

Изгоню ли смерть, которая уже въ крови жидкой, какъ вода, которая уже въ венахъ и жилахъ моихъ, твердыхъ, какъ высохшіе канаты? Верну ли жизнь?

Анатэма.

Ихъ жизнью умножишь твою жизнь. Сейчасъ у тебя одно сердце, Давидъ, — у тебя станутъ миллионы сердець.

Давидъ.

Но я умру.

Анатэма.

Нѣтъ, ты будешь безсмертенъ.

(Давидъ въ ужасѣ отступаетъ.)

Давидъ.

Страшное слово произнесли твои уста. Кто ты, что смѣешь обѣщать безсмертіе — не въ рукѣ ли Бога и жизнь и смерть чловѣка?

Анатэма.

Богъ сказалъ: жизнью жизнь возстанови.

Давидъ.

Но люди злы и порочны, и голодный ближе къ Богу, чѣмъ сытый.

Анатэма.

Вспомни Ханну и Веніамина...

Давидъ.

Молчи!

Анатэма.

Вспомни Рафаила и маленькаго Мойше...

Давидъ (въ тоскѣ).

Молчи, молчи!

Анатэма.

Вспомни твоихъ маленькихъ птичекъ, умершихъ на холодныхъ вѣтвяхъ зимы...

(Давидъ горько плачетъ.)

Анатэма.

Когда звенить жаворонокъ въ голубомъ небѣ, скажешь ли ты ему: молчи, маленькая птица — Богу не нужна твоя пѣснь? и не дашь ли ты ему зерна, когда онъ голоденъ? И не укроешь ли на груди отъ мороза, чтобы тепло ему было и могъ бы онъ сохранить свой голосъ до весны? Кто же ты, несчастный, не жалѣющій птицъ и дѣтей отдающій ненастью? Вспомни, какъ умиралъ твой маленькій Мойше. Вспомни, Давидъ, и скажи: люди порочны и злы и недостойны милости моей. (Какъ бы подъ страшною тяжестью Давидъ подгибаетъ колѣна и поднимаетъ руки, словно защищая голову отъ удара съ неба. Хрипитъ.)

Давидъ.

Адэной, Адэной.

(Анатэма, сложивъ руки на груди, молча смотритъ на него. Онъ мраченъ.)

Давидъ.

Пощады! Пощады!

Анатэма (быстро).

Давидъ, бѣдные ждутъ тебя. Они сейчасъ уйдутъ.

Давидъ.

Нѣтъ, нѣтъ!

Анатэма.

Бѣдные всегда ждутъ, но они устаютъ ждать и уходятъ.

Давидъ (странно).

Отъ меня они не уйдутъ. Ахъ, Нуллюсь, Нуллюсь... Ахъ, умный Нуллюсь, ахъ, глупый Нуллюсь, да неужели ты не понялъ, что уже давно я жду бѣдныхъ и голосъ ихъ въ ушахъ и сердцѣ моемъ. Когда ѣдутъ колеса по пыльной дорогѣ, примятой дождемъ, то думаютъ онѣ кружась и оставляя слѣдъ: вотъ мы дѣлаемъ дорогу. А дорога была, Нуллюсь, дорога-то уже была! (Весело.) Зови бѣдняковъ сюда!

Анатэма.

Подумай, Давидъ, кого ты зовешь. (Мрачно.) Не обмани меня, Давидъ!

Давидъ.

Я никогда не обманывалъ, Нуллюсь. (Рѣшительно и величаво.) Ты говорилъ — я молчалъ и слушалъ, теперь ты молчи и слушай меня: ибо не человѣку, но Богу отдалъ я душу свою, и власть Его на мнѣ. И я приказываю тебѣ: призови сюда жену мою Суру и

дѣтей моихъ, Наума и Розу, и всѣхъ домочадцевъ моихъ, какіе только есть.

Анатэма (покорно).

Призову.

Давидъ.

И призови бѣдныхъ, какіе ждуть меня во дворѣ. И, выйдя на улицу, взгляни, нѣтъ ли и тамъ бѣдныхъ, ожидающихъ меня, и если увидишь, то призови и ихъ. Ибо ихъ жаждою горятъ мои уста, и ихъ голодомъ ненасытимо страждетъ чрево мое, и предъ лицомъ народа тороплюсь я возвѣстить о моей послѣдней и непреложной волѣ. Иди.

Анатэма (покорно).

Твоя воля на мнѣ.

(Анатэма уходитъ, до самой двери напутствуемый повелительнымъ жестомъ Давида. Молчаніе.)

Давидъ.

Духъ Божій пронесся надо мною, и волосы поднялись на головѣ моей. Адэной, Адэной... Кто, страшный, вѣшалъ голосомъ стараго Нуллюса, когда заговорилъ онъ о моихъ маленькихъ умершихъ дѣтяхъ? — Только стрѣла, пущенная изъ лука Всезнающаго, такъ мѣтко попадаетъ въ самое сердце. Мои маленькія птички... Воистину на краю бездны удержалъ Ты меня и изъ когтей Діавола Ты вырвалъ мой духъ. Слѣпнетъ тотъ, кто смотритъ прямо на солнце, но вотъ проходитъ время и возвращается свѣтъ воскресшимъ очамъ; но навсегда слѣпнетъ тотъ, кто смотритъ во тьму. Мои маленькія птички... (вдругъ смѣ-

ется тихо и радостно и шепчетъ.) Я самъ понесу имъ хлѣбъ и молоко, я спрячусь за пологомъ, чтобы не видѣли меня — дѣти такъ нѣжны и пугливы и боятся незнакомыхъ людей, у меня же такая страшная борода. (Смѣется.) Я спрячусь за пологомъ и буду смотрѣть, какъ кушаютъ они. Имъ нужно такъ мало: сѣдять корочку хлѣба и сыты, выпьютъ кружку молока и уже не знаютъ жажды. Потомъ поютъ... Но какъ странно: развѣ не уходитъ ночь, когда приходитъ солнце, развѣ съ концомъ бури не ложатся волны спокойно и тихо, какъ овцы, отдыхающія на пастбищѣ — откуда же тревога, смятеніе легкое и страхъ. Тѣни невѣдомыхъ бѣдствій проносятся надъ моей душою и рѣютъ безшумно надъ мыслями моими. Ахъ, остаться бы мнѣ бѣднымъ, быть бы мнѣ незнаемымъ, прозябать бы мнѣ въ тѣни забора, гдѣ сваливаютъ мусоръ. — На вершину горы Ты поднялъ меня и міру явишь мое старое, печальное лицо. Но такова воля Твоя. Ты повелишь — и ягненокъ станетъ львомъ, Ты повелишь — и яростная львица протянетъ младенцамъ сосцы свои, полные силы, Ты повелишь — и Давидъ Лейзеръ, побѣлѣвшій въ тѣни, безстрашно поднимется къ солнцу. Адэной! Адэной!

(Входятъ встревоженные Сура, Наумъ и Роза.)

Сура.

Зачѣмъ ты призвалъ насъ, Давидъ? И почему такъ строгъ былъ твой Нуллюсъ, когда передавалъ намъ приказаніе? Мы ничѣмъ не провинились предъ тобою, а если провинились, то изслѣдуй, но не смотри такъ строго.

Роза.

Можно сѣсть?

Давидъ.

Молчите и ждите. Еще не всѣ пришли, кого я звалъ. Ты же, Роза, сядь, если устала, но когда настанетъ время — встань. Присядь и ты, Наумъ.

(Нерѣшительно входитъ прислуга: лакей, похожій на англійскаго министра, горничная, поваръ, садовникъ, судомойка и другіе. Смущенно топчутся. Почти тотчасъ же входятъ кучками бѣдняки, человѣкъ пятнадцать-двадцать. Среди нихъ Абрамъ Хессинъ, старикъ; дѣвочка отъ Сонки, Іосифъ Крицкій, Сарра Лепке и еще нѣсколько евреевъ и евреекъ. Но есть и греки, и молдаване, и русскіе, и просто загрызенные жизнью бѣдняки, національность которыхъ теряется въ безличности лохмотьевъ и грязи; двое пьяныхъ. Тутъ же грекъ Пурикесъ, Иванъ Безкрайній и шарманщикъ, со своею, всею же облѣзлой и скрипучей машиной. Но Анатэмы еще нѣтъ.)

Давидъ.

Прошу васъ, прошу васъ. Входите же смѣлѣй, и не останавливайтесь на порогѣ, за вами идутъ еще. Но было бы хорошо, если бы вытирали ноги: этотъ богатый домъ не мой, и я долженъ вернуть его чистымъ, какъ и получилъ.

Хессинъ.

Мы еще не научились ходить по коврамъ, и у насъ нѣтъ лаковыхъ ботинокъ, какъ у вашего сына Наума. Здравствуйте, Давидъ Лейзеръ. Миръ вашему дому!

Давидъ.

Миръ и тебѣ, Абрамъ. Но зачѣмъ ты такъ пышно зовешь меня Давидомъ Лейзеромъ, когда прежде звалъ просто Давидомъ?

Хессинъ.

Вы теперь такой могущественный человѣкъ, Да-

видъ Лейзеръ. Да, прежде я звалъ васъ Давидомъ, но вотъ я жду васъ во дворѣ, и чѣмъ я больше жду, тѣмъ длиннѣе становится ваше имя, господинъ Давидъ Лейзеръ.

Давидъ.

Ты правъ, Абрамъ: когда заходитъ солнце, длиннѣе становятся тѣни, и когда человѣкъ умалется — имя его вырастаетъ. Но подожди, Абрамъ, еще.

Лакей (пьяному).

Вы бы отодвинулись отъ меня.

Пьяный.

Молчи, дуракъ! Ты здѣсь лакей, а мы въ гостяхъ.

Лакей.

Хамъ! Ты тутъ не въ конкѣ, чтобы плевать на полъ.

Пьяный.

Господинъ Лейзеръ, какой-то человѣкъ, похожій на стараго чорта, схватилъ меня за шиворотъ и сказалъ: тебя зоветъ Давидъ Лейзеръ, который получилъ наслѣдство. И я спросилъ — это зачѣмъ? Онъ же отвѣтилъ: Давидъ хочетъ тебя сдѣлать своимъ наслѣдникомъ — и засмѣялся. А когда я пришелъ, вашъ лакей гонитъ меня.

Давидъ (улыбаясь).

Ну лжусь — веселый человѣкъ и никогда не упускаетъ случая, чтобы пошутить. Но вы мой гость, и я прошу васъ, подождите.

Сура

(послѣ нѣкотораго колебанія, не выдерживаетъ).

Ну, какъ у васъ торговля, Иванъ? Теперь у васъ меньше конкурентовъ?

Безкрайній.

Плохо, Сура: покупателей нѣтъ.

Пурикесь (какъ эхо).

Покупателей нѣтъ.

Сура (жалѣетъ).

Ай-ай-ай! Это плохо, когда нѣтъ покупателей.

Роза.

Молчи, мама — не хочешь ли ты вновь вымазать сажей мое лицо?

(Толкая впереди себя нѣсколькихъ бѣдняковъ, входитъ Анатэма, — онъ, видимо, усталъ и запыхался.)

Анатэма.

Ну, вотъ, Давидъ, получайте пока это. Ваши миллионы пугаютъ бѣдняковъ, и никто не хотѣлъ идти за мною, думая, что здѣсь кроется обманъ.

Пьяный.

Вотъ этотъ человѣкъ схватилъ меня за шиворотъ.

Анатэма.

Ахъ, это вы? Здравствуйте, здравствуйте.

Давидъ.

Благодарю тебя, Нуллюсь. Теперь же возьми чернила и бумагу и сядь возлѣ меня за столомъ; мнѣ же подай мои старые счета. — Такъ какъ все, что я буду говорить, очень важно, то прошу тебя, записывай точно и не ошибайся — въ каждомъ словѣ нашемъ мы дадимъ отчетъ Богу. Васъ же всѣхъ прошу встать и слушать внимательно, вникая въ смыслъ великихъ словъ, которыя я произнесу. (Строго.) Встань, Роза!

Сура.

Боже, сжапись надъ нами! Что ты хочешь дѣлать, Давидъ?

Давидъ.

Молчи, Сура. Ты пойдешь за мною.

Анатэма.

Готово.

(Всѣ стоя слушаютъ.)

Давидъ (торжественно).

По смерти брата моего, Моисея Лейзера, я получилъ наслѣдство (откладываетъ на счетахъ) два милліона долларовъ.

Анатэма

(егозливо поднимая четыре пальца).

Что значить четыре милліона рублей.

(Всѣ въ волненіи.)

Давидъ (строго).

Не прерывайте меня, Нуллюсь. Да, это значить четыре милліона рублей. И вотъ, подчиняясь голосу

моей совѣсти и велѣнію Бога, а также въ память дѣтей моихъ: Ханны, Веніамина, Рафаила и Моисея, умершихъ отъ голода и болѣзней въ отроческомъ возрастѣ...

(Опускаетъ голову все ниже и горько плачетъ. И такими же слезами отвѣчаетъ ему Сура.)

Сура.

О, мой маленькій Мойше! Давидъ, Давидъ, умеръ нашъ маленькій Мойше!

Давидъ

(вытирая глаза большимъ краснымъ платкомъ).

Молчи, Сура! Ну, такъ что же я имъ хотѣлъ сказать, Нуллюсь?... Но пишите, Нуллюсь, пишите. Я знаю. (Твердо.) И вотъ рѣшилъ я, въ согласіи съ законами Бога, Который есть правда и милость -- раздать все мое имѣніе нищимъ. Такъ ли я говорю, Нуллюсь?

Анатэма.

Я слышу Бога.

(Никто не вѣритъ въ первую минуту; но быстро родятся радостныя сомнѣнія, и неожиданный темный страхъ рѣетъ надъ головами. Какъ бы во снѣ, люди твердятъ очарованно: четыре милліона, четыре милліона, и закрываютъ глаза руками. Выступаетъ впередъ шарманщикъ.)

Шарманщикъ (угрюмо).

Ты мнѣ купишь новую музыку, Давидъ?

Анатэма.

Тсс. Назадъ, музыкантъ.

Шарманщикъ (отступая).

Я хочу и новую обезьяну.

Давидъ.

Возвеселитесь же сердцемъ, несчастные, и улыбкою устъ отвѣтите на милость Неба. И идите отсюда въ городъ, какъ вѣстники счастья, обойдите его улицы и площади и всюду громко кричите: Давидъ Лейзеръ, старый еврей, который скоро долженъ умереть, получилъ наслѣдство и раздаетъ его бѣднымъ. И если увидите человѣка, который плачетъ, и ребенка, лицо котораго безкровно и мутны глаза, и женщину, у которой отвисли тощія груди, какъ у старой козы, — и тѣмъ вы скажите: идите, васъ зоветъ Давидъ. Такъ ли я говорю, Нуллюсь?

Анатэма.

Такъ, такъ. Но всѣхъ ли ты позвалъ?

Давидъ.

И если увидите пьянаго человѣка, заснуваго на блевотѣ своей, разбудите его и скажите: иди, тебя зоветъ Давидъ. И если увидите вора, котораго бьютъ на базарѣ обиженные имъ, то и его позовите словами добрыми и имѣющими силу приказа: иди, тебя зоветъ Давидъ. И если увидите людей, отъ нужды впавшихъ въ раздраженіе и злобу и побивающихъ другъ друга палками и обломками кирпича, то и имъ возвѣстите миръ словами: идите, васъ зоветъ Давидъ! И если увидите человѣка стыдливаго, который, ходя по большой улицѣ, опускаетъ взоры передъ взорами, а въ спину смотритъ жадно, то и ему тихонько скажите, не возмущая гордости его: не Давида ли ищешь?

Иди, уже давно онъ ждетъ тебя. И если въ вечерній часъ, когда сѣменемъ ночи засѣваетъ землю Діаволь, вы увидите женщину, которая раскрашена страшно, подобно тому, какъ язычники раскрашиваютъ трупы умершихъ, и смотреть смѣло, ибо лишена стыда, и поднимаетъ плечи, ибо удара боится, то и ей скажите: иди, тебя зоветъ Давидъ! Такъ ли я говорю, Нулюсь?

Анатэма.

Такъ, Давидъ. Но всѣхъ ли ты позвалъ?

Давидъ.

И какой бы образъ, внушающій омерзѣніе и страхъ ни приняла нищета, и какими красками ни расцвѣтилось бы горе, и какими словами ни оградилось бы страданіе, громкимъ призывомъ поднимайте уставшихъ, словами жизни возвращайте жизнь умирающимъ! И не вѣрьте молчанію и тьмѣ, когда стѣною преграждаютъ они путь: громче кричите въ молчаніе и тьму, ибо тамъ почиваетъ неизреченный ужасъ.

Анатэма.

Такъ, Давидъ, такъ! Я вижу, какъ на вершину поднимается твой духъ и громко стучишь ты въ желѣзныя врата вѣчности: откройтесь. Я люблю тебя, Давидъ, я цѣлую твою руку, Давидъ, я, какъ собака, готовъ ползать на брюхѣ и исполнять повелѣнія твои. Зови, Давидъ, зови. Возстань, земля! Сѣверъ и югъ, востокъ и западъ, я приказываю вамъ, волею Давида, господина моего, откликнитесь на зовъ зовущаго и четырьмя океанами слезъ остановитесь у ногъ его. Зови, Давидъ, зови.

Давидъ (поднимая руки).

Сѣверъ и югъ...

Анатэма.

Востокъ и западъ...

Давидъ.

Всѣхъ зоветъ Давидъ!

Анатэма.

Всѣхъ зоветъ Давидъ!

(Смятеніе, слезы, смѣхъ, ибо теперь всѣ вѣрятъ. Анатэма цѣлуетъ руку Давида и мечется въ полномъ восторгѣ. Тащитъ шарманщика за шиворотъ на середину.)

Анатэма.

Смотри, Давидъ — музыкантъ! (Хохочетъ и трясетъ шарманщика.) Такъ ты не хочешь старой музыки, а? Такъ тебѣ нужна новая обезьяна? А? Можетъ быть, ты и порошку попросишь отъ блохъ, — проси: мы все дадимъ тебѣ!

Давидъ.

Тише, Нуллюсь, тише. Уже надо работать. Вы умѣете считать на счетахъ, Нуллюсь?

Анатэма.

Я, о, равви Давидъ? Я самъ число и счетъ, я самъ — мѣра и вѣсы!

Давидъ.

Такъ садитесь же, пишите и считайте. Но вотъ

что, мои милыя дѣти: я старый еврей, умѣющій головку чеснока раздѣлить на десять порцій, я знаю не только нужду человѣка, но я видѣлъ и то, какъ голодаетъ тараканъ, да, — но и то я видѣлъ, какъ умирають отъ голода маленькія дѣти... (Опускаетъ голову и глубоко вздыхаетъ.) Такъ не обманывайте же меня, и помните, что всему есть счетъ и мѣра. И тамъ, гдѣ нужно десять копеекъ, не просите двадцать, и тамъ, гдѣ достаточно одной мѣры пшена, не требуйте двухъ, ибо лишнее для одного всегда необходимое для другого. Какъ братья, у которыхъ одна только мать, съ грудями полными, но истощающимися быстро, не обижайте другъ друга и не огорчайте щедрую, но и бережливую мать... Можно начинать? Нулюсь, у васъ все готово?

Анатѣма.

Можно. Я жду; Давидъ.

Давидъ.

Такъ станьте же въ очередь, прошу васъ. Денегъ у меня пока нѣтъ, онѣ еще въ Америкѣ, но я запишу точно, кому и сколько надо по нуждѣ его.

Сура.

Давидъ, Давидъ, что ты дѣлаешь съ нами. Взгляни на Розу, взгляни на бѣднаго Наума.

(Наумъ ошеломленъ — хочетъ что-то сказать, но не можетъ; безсильно ловить воздухъ растопыренными пальцами. И поодаль отъ него, одинокая въ своей молодости, силѣ и красотѣ, среди всей этой бѣдности, изможденныхъ лицъ, плоскихъ, точно раздавленныхъ грудей, жалкаго отребья — стоитъ Роза и вызывающе смотритъ на отца.)

Роза.

Развѣ мы меньше дѣти, чѣмъ эти, собранные на улицѣ, и развѣ мы не брать и сестра тѣхъ, что умерли?

Давидъ.

Роза права, мать, и всякій получить то, что ему слѣдуетъ.

Роза.

Да-а? А ты знаешь сколько слѣдуетъ каждому, отецъ?

(Горько смѣется и хочетъ уходить, презрительнымъ движеніемъ руки требуя дорогу.)

Давидъ (мягко и печально).

Останься, Роза!

Роза.

Мнѣ здѣсь нечего дѣлать. Я слышала, ты всѣхъ призвалъ... О, ты звалъ очень громко!.. Но позвалъ ли ты — красивыхъ? Мнѣ здѣсь нечего дѣлать. (Уходить.)

Сура (вставая въ нерѣшимости).

Розочка!

Давидъ

(все такъ же мягко, съ тихой улыбкой).

Останься, мать — куда тебѣ идти. Ты — со мною.

(Наумъ дѣлаетъ нѣсколько шаговъ за Розой, потомъ возвращается назадъ и вяло садится около матери.)

Давидъ.

Готово, Нуллюсь? Такъ подойдите же, почтенный человѣкъ, первый стоящій въ очереди.

Хессинъ (подходя).

Ну, вотъ и я, Давидъ.

Давидъ.

Какъ васъ зовутъ?

Хессинъ.

Меня зовутъ Абрамъ Хессинъ... Но развѣ ты забылъ мое имя? — Вѣдь еще дѣтьми мы играли съ тобою.

Давидъ.

Тсс. Такъ нужно для порядка, Абрамъ. Четко напишите это имя, Нуллюсь: это первый, который ждалъ меня и на которомъ проявилась воля Господа моего.

Анатэма (пишетъ старательно).

Нумерь первый... Я потомъ разлуню бумагу, Давидъ! Нумерь первый: Абрамъ Хессинъ...

Наумъ (тихо).

Мама, я больше не буду танцовать.

Занавѣсъ.

Четвертая картина.

Четвертая картина.

Та же пыльная дорога съ покосившимися столбами и старой, заброшенной караульней; тѣ же лавченки. И такъ же, какъ тогда, беспощадно жжетъ солнце.

Но и на дорогѣ, и возлѣ лавченокъ уже не безлюдно, какъ прежде... Въ большемъ числѣ собрались бѣдняки, чтобы привѣтствовать Давида Лейзера, раздавшего свое имѣніе нищимъ, и наполняютъ раскаленный воздухъ криками, движеніемъ, веселой суетою. Счастливые Пурикесь, Безкрайній и Сонка, гордые обиліемъ товара въ своихъ магазинахъ, бойко торгуютъ содовой водой и леденцами. А возлѣ своей лавченки сидитъ, какъ прежде, Сура Лейзеръ, одѣтая чисто, но бѣдно: послѣ того какъ сынъ Наумъ скончался отъ чихотки, а красавица Роза, захвативъ значительную сумму денегъ, бѣжала, неизвѣстно куда, Сура возненавидѣла богатство и охотно вернулась къ прежнему занятію, какъ пожелалъ того Давидъ. Уже почти всѣ деньги розданы, остается всего нѣсколько десятковъ рублей, необходимыхъ для того, чтобы Давидъ Лейзеръ и его жена могли доѣхать до Іерусалима и въ честной бѣдности окончить жизнь свою въ стѣнахъ святого города.

Давиду Лейзеру, ушедшему съ другомъ своимъ Анатѣмой на берегъ моря, готовится торжественная встрѣча. Всѣ лавченки и даже столбы, и даже заброшенная караульня украшены пестрымъ разноцвѣтнымъ тряпьемъ и вѣтвями деревьевъ; съ правой же стороны дороги, на выгорѣвшей и примятой травѣ готовится къ встрѣчѣ оркестръ — нѣсколько евреевъ съ разнообразными инструментами, собранными, по-видимому, случайно: тутъ и хорошая скрипка, и цимбалы, и измятая, испорченная мѣдная труба, и даже барабанъ, хотя и прорванный немного. Участники оркестра плохо сыгрались и теперь ожесточенно бранятся, порицая чужіе инструменты.

Среди собравшихся много дѣтей; есть совсѣмъ маленькіе и даже грудные младенцы, принесенные на рукахъ. Въ толпѣ знакомыя лица Абрама Хессина и другихъ бѣдняковъ, бывшихъ въ первый день раздачи денегъ; поодаль, на бугоркѣ, держа орудіе свое наготовѣ, стоитъ угрюмый шарманщикъ. Онъ уже успѣлъ приобрѣсти въ кредитъ новую шарманку, но не можетъ найти новой обезьяны: всѣ обезьяны, къ какимъ онъ прицѣнивался, или совершенно бездарны, или же слабы здоровьемъ и на пути къ несомнѣнному вырожденію.

Молодой еврей

(трубить въ измятую трубу).

Но почему же она можетъ только въ одну сторону? Такая хорошая труба.

Музыкантъ со скрипкой (волнуясь).

Но что вы дѣлаете со мною — развѣ съ такою трубой можно встрѣчать Давида Лейзера? Бы бы еще принесли кошку и стали дергать ее за хвостъ и думали, что Давидъ назоветъ васъ своимъ сыномъ.

Молодой еврей (упрямо).

Труба хорошая. На ней игралъ мой папаша, когда былъ военнымъ музыкантомъ, и всѣ благодарили его.

Музыкантъ.

Вашъ папаша игралъ на ней, а кто же на ней сидѣлъ? Отчего же она такая мятая? Развѣ можно съ такой помятой трубою встрѣчать Давида Лейзера?

Молодой еврей (со слезами).

Труба совсѣмъ хорошая.

Музыкантъ

(почти плача, къ угрюмому, бритому старику).

Это вашъ барабанъ? Нѣтъ, скажите, вы серьезно

думаете, что это барабанъ? Развѣ въ барабанѣ бываетъ такая дырка, въ которую можетъ пролѣзть собака?

Хессинь.

Не нужно волноваться, Лейбке. Вы очень талантливый человѣкъ, и у васъ будетъ прекрасная музыка, и Давидъ Лейзеръ будетъ очень тронуть.

Музыкантъ.

Но я же не могу. Вы, Абрамъ Хессинъ, почтенный человѣкъ, вы очень долго жили на свѣтѣ, но развѣ вы видали когда-нибудь такую большую дыру въ барабанѣ?

Хессинъ.

Нѣтъ, Лейбке, такой большой дыры я не видалъ, но это совсѣмъ не важно. Давидъ Лейзеръ былъ милліардеромъ, у него было двадцать милліоновъ рублей, но онъ человѣкъ не избалованный и скромный и ему доставить радость ваша любовь. Развѣ душѣ нуженъ барабанъ, чтобы она могла выразить свою любовь? Я вижу здѣсь людей, у которыхъ нѣтъ ни барабана, ни трубы, и которые плачутъ отъ счастья — ихъ слезы безшумны, какъ роса, но поднимитесь выше, Лейбке, поднимитесь немного къ небу, вы не услышите барабана, но зато услышите, какъ падаютъ слезы.

Старикъ.

Не нужно ссориться и омрачать дни свѣтлой радости. Давиду будетъ непріятно.

(Къ разговору прислушивается странникъ — лицо у него суровое, черное отъ загара; все же остальное, волосы, одежда, сѣрѣетъ отъ придорожной пыли. Остороженъ въ обду-

манныхъ движеніяхъ, но смотритъ просто и прямо, и глаза у него безъ блеска — какъ раскрытыя окна въ жиломъ домѣ среди ночи.)

Странникъ.

Онъ миръ и счастье принесъ на землю, и уже вся земля знаетъ о немъ. Я пришелъ издалика, гдѣ другіе люди, непохожіе на васъ, и другіе у нихъ нравы, и только по страданіямъ и горю они ваши братья. И уже тамъ знаютъ о Давидѣ Лейзерѣ, раздающемъ хлѣбъ и счастье, и благословляютъ его имя.

Хессинъ.

Вы слышите, Сура? (Утирая слезы.) Это о вашемъ мужѣ говорятъ, о Давидѣ Лейзерѣ.

Сура.

Я слышу, Абрамъ. Я все слышу. Я только не слышу голоса Наума, который умеръ, и лепета Розы не слышу я. Вотъ вы, старичокъ, много ходили по землѣ и даже знаете такихъ людей, которые на насъ не похожи, — не встрѣчали ли вы на дорогѣ красивой дѣвушки, красивѣйшей изъ всѣхъ, какія есть на землѣ?

Безкрайній.

У нея была дочь Роза, красивая дѣвушка, и убѣждала она изъ дому, не желая уступать бѣднымъ своей доли. Много денегъ она захватила, Сура?

Сура.

Развѣ для Розы можетъ быть много денегъ? Тогда вы скажете, что въ коронѣ царя есть лишніе брилліанты и у солнца лишніе лучи.

Странникъ.

Нѣтъ, я не видѣлъ вашей дочери: по большимъ дорогамъ иду я, и тамъ нѣтъ ни богатыхъ, ни красивыхъ.

Сура.

Но, быть можетъ, вы видали людей, которые, собравшись, говорятъ горячо о какой-то красавицѣ? Это моя дочь, старикъ.

Странникъ.

Нѣтъ, я не видѣлъ такихъ людей. Но я видѣлъ другихъ людей, которые, собравшись, говорили о Давидѣ Лейзерѣ, раздающемъ хлѣбъ и счастье. Правда ли, что вашъ Давидъ исцѣлилъ женщину, у которой была неизлѣчимая болѣзнь, и она уже умирала?

Хессинъ (улыбаясь).

Нѣтъ, это неправда.

Странникъ.

Правда ли, что Давидъ возвратилъ зрѣніе чловѣку, который былъ слѣпъ отъ рожденія?

Хессинъ (качая головой).

Это неправда. Кто-то обманулъ людей, которые не похожи на насъ. Только Богъ можетъ творить чудеса. Давидъ же Лейзеръ лишь добрый и достойный чловѣкъ, какимъ долженъ быть всякій, еще не забывшій Бога.

Пурикесь.

Нѣтъ, это не вѣрно, Абрамъ Хессинъ. Давидъ —

не простой человѣкъ и не человѣческая сила въ немъ.
Я знаю это.

(Народъ, окружившій ихъ, жадно слушаетъ слова Пурикеса.)

Пурикесь.

Я видѣлъ своими глазами, какъ по безлюдной, опаленной солнцемъ дорогѣ пришелъ тотъ, кого я принялъ за покупателя — но это не былъ покупатель. Я видѣлъ своими глазами, какъ онъ коснулся рукою Давида, и Давидъ заговорилъ такъ страшно, что я не могъ его слушать. Вы помните, Иванъ?

Безкрайній.

Это правда. Давидъ — не простой человѣкъ.

Сонка.

Развѣ простой человѣкъ бросаетъ въ людей деньгами, какъ камнями въ собаку? Развѣ простой человѣкъ ходитъ плакать на могилу чужого ребенка, котораго не онъ родилъ, не онъ лелѣялъ и не онъ схоронилъ, когда пришла смерть?

Женщина съ ребенкомъ на рукахъ.

Давидъ не простой человѣкъ. Кто видалъ простого человѣка, который больше ребенку мать, чѣмъ его родная мать? Который стоитъ за пологомъ и смотритъ, какъ кушаютъ чужія дѣти, и плачетъ отъ радости? Котораго не боятся дѣти, даже самыя маленькія, и играютъ съ почтенной бородою его, какъ съ бородою дѣда? Не цѣлый ли клочъ сѣдыхъ волосъ вырвалъ маленький, глупенькій Рувимъ изъ почтенной бороды Давида Лейзера? — Разсердился ли

Давидъ? Закричалъ ли отъ боли, затопаль ли ногами? Нѣтъ, онъ засмѣялся какъ бы отъ счастья и какъ бы отъ радости заплакалъ онъ.

Пьяный.

Давидъ не простой человѣкъ. Онъ чудакъ. Я ему сказалъ: зачѣмъ вы даете мнѣ деньги? Правда, я бось и грязень, но не думайте, что на ваши деньги я куплю мыло и сапоги. Я пропью ихъ въ ближайшемъ кабацѣ. Такъ я долженъ былъ сказать ему, потому что я хоть и пьяница, но честный человѣкъ. И чудакъ Давидъ отвѣтилъ мнѣ смѣшно, какъ хороший сумасшедшій: если вамъ пріятно пить, Семень, то и пейте, пожалуйста — не учить людей, а радовать ихъ я пришелъ.

Старый еврей.

Учителей много, а радующихъ — нѣтъ. Да благословить Богъ Давида, радующаго людей.

Безкрайній (пьяному).

Такъ таки сапогъ и не купилъ?

Пьяный.

Нѣтъ. Я честный человѣкъ.

Музыкантъ (въ отчаяніи).

Ну, скажите вы всѣ, у кого есть совѣсть: развѣ такая музыка нужна Давиду, радующему людей? Мнѣ стыдно, что я собралъ такой плохой оркестръ, и лучше бы мнѣ умереть, чѣмъ осрамиться передъ Давидомъ.

Сура (къ шарманщику).

А вы будете играть, музыкантъ? У васъ теперь такая красивая машина, что подъ нее могутъ танцовать ангелы.

Шарманщикъ.

Буду.

Сура.

Но почему же у васъ нѣтъ обезьяны?

Шарманщикъ.

Я не могъ найти хорошей обезьяны. Всѣ обезьяны, какихъ я видѣлъ, либо стары, либо злы, либо совсѣмъ бездарны, и даже не умѣютъ ловить блохъ. У меня уже заѣли блохи одну обезьяну, и я не хочу, чтобы погибла и другая. Обезьянѣ нуженъ талантъ, какъ и человѣку, — одного хвоста мало, даже для того, чтобы быть обезьяной.

(Странникъ тихо допытывается у Абрама Хессина.)

Странникъ (тихо).

Скажи мнѣ правду, еврей: я присланъ сюда людьми, и много верстъ подъ солнцемъ, не знающимъ жалости, прошелъ я моими старыми ногами, чтобы узнать правду. Кто этотъ Давидъ, радующій людей? Пусть онъ не исцѣляетъ больныхъ...

Хессинъ.

Это грѣхъ и обида Богу — думать, что человѣкъ можетъ исцѣлять.

Странникъ.

Пусть такъ. Но не правда ли, что Давидъ Лей-
Леонидъ Андреевъ. XI.

зеръ хочетъ построить огромный дворецъ изъ бѣлаго камня и голубого стекла и собрать туда всѣхъ бѣдныхъ земли?

Хессинъ (въ смущеніи).

Не знаю. Развѣ можно построить такой большой дворецъ?

Странникъ (убѣжденно).

Можно. И правда ли, что онъ хочетъ отнять силу у богатыхъ и одѣлать ею бѣдныхъ? (Шопотомъ.) И взять власть у властвующихъ, могущество у повелѣвающихъ и одѣлать ими людей, всѣхъ поровну, сколько ихъ ни на есть на землѣ?

Хессинъ.

Не знаю. (Робко). Ты пугаешь меня, старикъ.

Странникъ (осторожно озираясь).

И правда ли, что онъ уже послалъ вѣстниковъ въ Эфіопію къ чернымъ людямъ, чтобы они готовились къ пріятію новаго царства, потому что и черныхъ людей онъ хочетъ одѣлать наравнѣ съ бѣлыми, всѣмъ поровну, каждому столько, сколько онъ пожелаетъ; (таинственнымъ шопотомъ, угрожающе) по справедливости.

(На дорогѣ, изъ-за поворота показывается Давидъ Лейзеръ, идущій медленно; въ правой рукѣ у него посохъ, подъ лѣвую же руку его почтительно поддерживаетъ Анатэма. Среди ожидающихъ волненіе и тревога; музыканты бросаются къ своимъ инструментамъ, женщины торопливо собираютъ играющихъ дѣтей. Крики: идетъ, идетъ; зовы: Мойше, Петя, Сарра.)

Старикъ.

И правда ли...

Хессинъ.

Спроси его. Вотъ онъ идетъ самъ.

(Увидѣвъ толпу, Анатэма останавливаетъ задумавшагося Давида и широкимъ, торжествующимъ жестомъ указываетъ на ожидающихъ. Такъ нѣкоторое время стоятъ они: Давидъ съ закинутою назадъ сѣдою головой и прижавшійся къ нему Анатэма; приблизивъ лицо свое къ лицу Давида, Анатэма что-то горячо шепчетъ ему и продолжаетъ указывать лѣвою рукою. Отчаянно метавшійся Лейбке собралъ, наконецъ, свой оркестръ, и тотъ раздражается дикимъ разноголосымъ тушемъ, пестрымъ и веселымъ, какъ развѣвающіеся цвѣтные лоскутья. Веселые крики, смѣхъ, дѣти лѣзутъ впередъ, кто-то плачетъ, многіе молитвенно протягиваютъ руки Давиду. И среди хаоса веселыхъ звуковъ медленно движется Давидъ. Толпа разступается на пути его, многіе бросаютъ вѣтви и постилаютъ свои одежды, женщины срываютъ повязки съ головъ и бросаютъ къ его ногамъ на пыльную дорогу. Такъ онъ доходитъ до Суры, которая, вставъ, привѣтствуетъ его съ другими женщинами. Музыка смолкаетъ. Но Давидъ молчитъ. Смущеніе.)

Хессинъ.

Что же ты молчишь, Давидъ? Вотъ люди, которыхъ ты сдѣлалъ счастливыми, привѣтствуютъ тебя и постилаютъ одежды на твоёмъ пути, ибо велика ихъ любовь и не вмѣщается въ груди радость. Скажи слово — они ждутъ.

(Давидъ стоитъ, опустивъ глаза и обѣими руками опершись на посохъ; лицо его строго и важно. И съ тревогою, черезъ плечо смотреть на него Анатэма.)

Анатэма.

Тебя ждутъ, Давидъ. Скажи имъ слово радости и успокой ихъ любовь.

Давидъ (молчитъ).

Женщина.

Что же ты молчишь, Давидъ? Ты пугаешь насъ. Развѣ ты не Давидъ, радующій людей?

Анатэма (нетерпѣливо).

Говори же, Давидъ. Слова радости ждетъ ихъ взволнованный слухъ, и молчаніемъ, подобнымъ нѣмотѣ камня, ты къ землѣ пригнетаешь ихъ душу. Говори.

Давидъ

(поднимая глаза и строго ими обводя толпу).

Зачѣмъ эти почести и шумъ голосовъ, и музыка, которая играетъ такъ громко? — Кому воздаете почести, которыхъ достоинъ только князь или совершившій великое? Мнѣ ли, старому, бѣдному человѣку, который скоро долженъ умереть, постилаете одежды на пути? Что я сдѣлалъ такое, чтобы заслужить восторгъ и ликованіе и слезы безумной радости исторгнуть изъ глазъ. Я далъ вамъ деньги и хлѣбъ — но это деньги Всевышняго, отъ Него пришедшія и къ Нему черезъ васъ вернувшіяся. Только то я сдѣлалъ, что не утаилъ денегъ, какъ воръ, и грабителемъ не сталъ, какъ забывающіе Бога. Такъ ли я говорю, Нулюсь?

Анатэма.

Нѣтъ, Давидъ, не такъ. Недостойна твоя рѣчь мудраго, и не изъ устъ смиреннаго исходитъ она.

Старикъ.

Хлѣбъ безъ любви, какъ трава безъ соли: желудокъ насыщается, во рту же томленіе и горькая память.

Давидъ.

Развѣ я забылъ что-нибудь, Нуллюсь? Тогда напомни мнѣ, другъ: я уже старъ и плохо видятъ мои глаза, но не музыкантовъ ли я вижу, скажи, Нуллюсь? Не флаги ли, пестрые, какъ языкъ сороки, надъ головой моей? Скажи, Нуллюсь.

Анатэма.

Ты людей забылъ, Давидъ. Ты дѣтей не видишь, Давидъ Лейзеръ.

Давидъ.

Дѣтей?

(Женщины съ плачемъ протягиваютъ Давиду своихъ дѣтей.)

Голоса.

Благослови моего сына, Давидъ. — Коснись моей дѣвочки, Давидъ. — Благослови! — Коснись! — Коснись!

Давидъ (поднимая руки къ небу).

О Ханна и Веніаминъ, о Рафаиль и мой маленькій Мойше...

(Смотритъ внизъ и протягиваетъ руки къ дѣтямъ.)

Давидъ.

О, мои маленькія птички, умершія на голыхъ вѣтвяхъ зимы... О, дѣти, дѣточки, дѣточки, маленькія дѣточки... Ну и что же, Нуллюсь, развѣ я не плачу? Развѣ я не плачу, Нуллюсь? Ну, — и пусть плачутъ всѣ. Ну — и пусть играютъ музыканты, Нуллюсь — я же понялъ теперь! О, дѣточки, маленькія дѣточки, я же свое вамъ далъ, я вамъ далъ мое старое сердце,

я вамъ далъ печаль и радость мою — не всю ли имъ душу я отдалъ, Нуллюсь?

(Плачь и смѣхъ, похожій на слезы.)

Давидъ.

Вновь вырвалъ ты мою душу изъ пасти грѣха, Нуллюсь. Въ день радости я мрачнымъ сталъ передъ народомъ, въ день ликованія его не къ Небу, а къ землѣ опустилъ я взоры, старый, плохой человѣкъ. Кого я обмануть хотѣлъ моимъ притворствомъ? Развѣ дни и ночи не живу я въ восторгѣ, и полными пригоршнями не черпаю любви и счастья? Зачѣмъ же притворялся я печальнымъ?... Я не знаю твоего имени, женщина, дай мнѣ твоего ребенка, вотъ этого, который смѣется, когда всѣ плачутъ, потому что онъ одинъ умный. (Улыбаясь сквозь слезы). Или ты боишься, что я, какъ цыганъ, украду его?

(Женщина становится на колѣни и протягиваетъ Давиду ребенка.)

Женщина.

Берите, Давидъ. Все принадлежитъ вамъ, и мы, и дѣти наши.

Вторая женщина.

И моего возьмите, Давидъ!

Третья.

Моего, моего!

Давидъ

(беретъ ребенка и прижимаетъ къ груди, окутывая сѣдою бородою).

Тс... борода! Ай, какая страшная борода! Но

ничего, мой маленький, прижмись крѣпче и смѣйся — ты самый умный. Сура, жена, подойди сюда.

Сура (плача).

Я здѣсь.

Давидъ.

Отойдемъ съ тобою немного. Я отдамъ вамъ, женщина, ребенка, я только немного подержу его. Отойдемъ же, Сура. Передъ тобой мнѣ не стыдно плакать ни слезами горя, ни слезами радости.

(Отходятъ къ сторонѣ и оба тихонько плачутъ. Видны только ихъ старыя согнутыя спины и красный платокъ Давида, которымъ онъ вытираетъ глаза, и мокрое отъ слезъ лицо ребенка.)

Голоса.

Тише. Тише. Они плачутъ. Не мѣшайте имъ плакать. Тише. Тише.

(Анатэма на цыпочкахъ, шепча: тише, тише — подходитъ къ музыкантамъ и о чемъ-то толкуетъ съ ними, дирижируя рукою. Понемногу шумъ растетъ. Уже давно, съ полными стаканами въ рукахъ, ждутъ Безкрайній, Пурикесь и Сонка.)

Давидъ.

(возвращается, вытираетъ глаза платкомъ).

Нате вамъ вашего ребенка, женщина. Онъ намъ совсѣмъ не понравился, не правда ли, Сура?

Сура (плача).

У насъ уже не будетъ больше дѣтей, Давидъ.

Давидъ (улыбаясь).

Но, но, Сура. Развѣ всѣ дѣти, какія есть въ

міръ, не наши? У того нѣтъ дѣтей, у кого ихъ трое, шестеро и даже двѣнадцать, но не у того, кто не знаетъ имъ счета.

Сонка.

Выкушайте стаканъ содовой воды, почтенный Давидъ Лейзеръ — это ваша вода.

Пурикесь.

Выкушайте, Давидъ, стаканъ, это принесетъ мнѣ покупателя.

Безкрайній.

Выпейте стаканъ боярскаго квасу, Давидъ. Теперь это настоящій боярскій квасъ. Я могу сказать это смѣло: съ вашими деньгами все становится настоящимъ.

Сура (сквозь слезы, улыбаясь).

Ну, я всегда же вамъ говорила, Иванъ, что у васъ плохой квасъ. А теперь, когда настоящій — вы мнѣ не предлагаете?

Безкрайній.

Ахъ, Сура...

Давидъ.

Она шутить, Иванъ. Благодарю васъ, но я не могу выпить столько и попробую у каждого. Очень, очень хорошая вода, Сонка! Вы открыли секретъ и скоро разбогатѣете.

Сонка.

Я кладу немножко больше соды, Давидъ.

Странникъ (Анатэмъ тихо).

Правда ли, вы — близкій другъ Давида Лейзера

и скажете мнѣ это? Правда ли — что онъ хочетъ построить...

Анатэма.

Зачѣмъ такъ громко! Отойдемъ немного къ сторонѣ.

(Шепчутся. Анатэма отрицательно киваетъ головой — онъ правдивъ — но улыбается и гладитъ старика по спинѣ. И видно, что старикъ не вѣритъ ему. Въ теченіе дальнѣйшаго Анатэма понемногу уводитъ музыкантовъ, шарманщика и народъ за столбы, гдѣ ихъ не видно — но слышенъ шумъ, восклицанія, смѣхъ, короткіе звуки какъ бы настраиваемыхъ инструментовъ. Немногіе оставшіеся почтительно бесѣдуютъ съ Давидомъ.)

Хессинъ.

Правда ли, Давидъ, что вы съ Сурою уѣзжаете въ Іерусалимъ, святой городъ, о которомъ мы можемъ только мечтать?

Давидъ.

Да, это правда, Абрамъ. Хотя я сталъ здоровѣе и уже совсѣмъ не болитъ у меня грудь...

Хессинъ.

Но это же чудо, Давидъ?

Давидъ.

Радость даетъ здоровье, Абрамъ, а служеніе Богу укрѣпляетъ его. Но все же намъ съ Сурою недолго жить, и хотѣлось бы отдохнуть взорами на невиданной красотѣ Божіей земли. Но зачѣмъ, старый другъ, ты снова говоришь мнѣ вы, неужели ты еще не простилъ меня?

Хессинъ (испуганно).

Ой, не говорите, Давидъ. Если вы потребуете: скажи мнѣ ты или убей себя, то я лучше себя убью, а ты не скажу. Вы — не простой человѣкъ, Давидъ.

Давидъ.

Да. Я не простой человѣкъ. Я — счастливый человѣкъ. Но гдѣ же веселый человѣкъ, Нуллюсь, я что-то не вижу его. Ну, конечно, онъ готовить какую-нибудь шутку — я знаю его. Вотъ кто не омрачаетъ лица земли уныніемъ, Абрамъ, и не противится смѣху, который на жизни, какъ роса на травѣ, и въ лучахъ солнца сверкаетъ многоцвѣтно. Ну, конечно, онъ шутить — вы послушайте.

(За столбами играетъ музыка: оркестръ и шарманка съ великимъ азартомъ исполняютъ ту музыкальную вещь, которую раньше играла одна только шарманка. Звуки разорваны, немного дики, немного нелѣпы, но странно веселы. Безтолково свиститъ флейта, напоминая свистъ старой шарманки, что-то хрипитъ и криво, забираясь куда-то въ сторону, ухааетъ труба. Одновременно съ музыкою показывается и народъ, идущій сюда — это цѣлое торжественное шествіе. Во главѣ его, рядомъ съ угрюмо шагающимъ шарманщикомъ, идетъ танцующимъ шагомъ Анатэма: черезъ плечо, на ремнѣ — шарманка, рукоятку которой онъ вертитъ съ величайшимъ усердіемъ, пронзительно подсвистывая, дирижируя свободной рукою и бросая по сторонамъ и къ небу пріятные взгляды. За нимъ быстро такимъ же танцующимъ шагомъ идутъ музыканты и развеселившіеся бѣдняки. Проходя мимо Давида, Анатэма изгибаетъ голову въ его сторону и какъ бы къ нему обращаетъ весь свистъ свой, музыку и веселье. И такъ же изогнувъ шею по направленію къ Давиду, проходятъ музыканты и народъ. И съ шутливой укоризною, улыбаясь, Давидъ покачиваетъ головою и расправляетъ свою сѣдую, огромную бороду. Процессія скрывается.)

Сура (растроганная).

Какая красивая музыка. Какъ хорошо! Какъ тор-

жественно! Давидъ, Давидъ, неужели все это — для тебя?

Давидъ.

Для насъ, Сура.

Сура.

Ну, что я! Я только умѣю любить своихъ дѣтей. А ты, а ты... (Съ нѣкоторымъ страхомъ.) Вы — не простой человѣкъ, Давидъ!

Давидъ (улыбаясь).

Такъ, такъ. Ну кто же я, — губернаторъ, или даже генераль?

Сура.

Не шутите, Давидъ. Вы — не простой человѣкъ! (Странникъ, который все время оставался здѣсь и видѣлъ торжественную процессію, теперь прислушивается къ словамъ Суры и утвердительно киваетъ головою. Появляется веселый, нѣсколько запыхавшійся Анатэма.)

Анатэма.

Ну какъ, Давидъ? По-моему очень недурно. Прошли очень хорошо — я даже не ожидалъ! Только эта дурацкая труба!..

(Танцующимъ шагомъ, насвистывая, снова проходитъ передъ Давидомъ, какъ бы возстановляя въ его памяти происшедшее. Хохочетъ.)

Давидъ (благодарно).

Да, Нуллюсь. Музыка была очень хорошая. Я еще никогда не слыхалъ такой. Благодарю тебя, Нуллюсь — своею шуткою ты доставилъ большое удовольствіе народу.

Анатэма (къ страннику).

А тебѣ понравилось, старикъ?

Странникъ.

Понравилось. Ничего себѣ. Но то ли еще будетъ, когда всѣ народы земли склонятся у ногъ Давида Лейзера.

Давидъ (изумленно).

Что онъ говоритъ, Нуллюсь?

Анатэма.

Ахъ, Давидъ. Это даже трогательно: люди влюблены въ васъ, какъ невѣста въ жениха. Этотъ удивительный человѣкъ, пришедшій за тысячу верстъ...

Странникъ.

Больше.

Анатэма.

Спрашивалъ меня: не творить ли Давидъ Лейзеръ чудесь? Ну, — а я засмѣялся, я засмѣялся.

Хессинъ.

И меня онъ спрашивалъ о томъ же, но мнѣ не было смѣшно: длинно ухо ожидающаго — ему поютъ и камни.

Странникъ.

Только шагъ коротокъ у слѣпого, а мысли у него долги.

(Отходить и въ дальнѣйшемъ, какъ тѣнь, слѣдить за Давидомъ. Уже близко къ закату солнце и обнимаетъ землю тѣнями. Великой тишиной прощанія исполненъ воздухъ, и сонно ложится пыль, — розовая, теплая, познавшая солнце.

Завтра, сърую, поднимуть ее тяжелыя колеса, нѣмые таинственные шаги шествующихъ призрачно явятся и исчезнуть, и развѣтъ ее вѣтеръ и унесетъ вода — сегодня она лучится, расцвѣтаетъ пышно, покоится въ мирѣ и красотѣ, розовая, теплая, познавшая солнце.)

(Абрамъ Хессинъ прощается съ Давидомъ и уходитъ. Торговцы собираютъ товаръ, готовятся закрывать лавки. Тишина и покой.)

Анатэма (отдуваясь).

Фу, наконецъ-то. Ну и поработали мы съ вами, Давидъ — одна эта труба (закрываетъ уши) чего стоитъ. (Откровенно.) Мое несчастье, Давидъ — это ужасно тонкій, невыносимо тонкій слухъ, почти, да, почти какъ у собаки. Стоитъ мнѣ услышать...

Давидъ.

Я очень усталъ, Нуллюсь, и хочу отдохнуть. И мнѣ бы не хотѣлось сегодня видѣть людей, и вы не обидитесь, мой старый другъ...

Анатэма.

Я понимаю. Я только провожу васъ.

Давидъ.

Идемъ же, Сура — вдвоемъ съ тобою въ покоѣ и радости хочу я провести остатокъ этого великаго дня.

Сура.

Вы не простой человѣкъ, Давидъ. Какъ вы догадались о томъ, чего я хочу?

(Уходятъ по направленію къ столбамъ. Давидъ останавливается, смотритъ назадъ и говоритъ, опираясь рукою на плечо Суры.)

Давидъ.

Взгляни, Сура: вотъ мѣсто, гдѣ прошла наша жизнь — какъ оно печально и бѣдно, Сура, безпріютностью пустыни дышитъ оно. Но не здѣсь ли, Сура, узналъ я великую правду о судьбѣ человѣка? Я былъ нищъ, одинокъ и близокъ къ смерти, глупый, старый человѣкъ, у морскихъ волнъ искавшій отвѣта. Но вотъ пришли люди — и развѣ я одинокъ? Развѣ я нищъ и близокъ къ смерти? Послушайте меня, Нуллюсь: смерти нѣтъ для человѣка. Какая смерть? Что такое смерть? Кто, печальный, выдумалъ это печальное слово — смерть? Можетъ быть, она и есть, я не знаю — но я, Нуллюсь... я безсмертенъ.

(Какъ бы пораженный свѣтлымъ ударомъ, сгибается, но руки поднимаетъ вверхъ.)

— Ой, какъ страшно: я безсмертенъ. Гдѣ конецъ небу — я потерялъ его. Гдѣ конецъ человѣку — я потерялъ его. Я — безсмертенъ. Охъ, больно груди человѣка отъ безсмертія и жжетъ его радость, какъ огонь. Гдѣ конецъ человѣку — я безсмертенъ! Адэной! Адэной! Да славится во вѣки вѣковъ таинственное имя Того, Кто даетъ безсмертіе человѣку.

Анатэма (торопливо).

Имя! Имя! Ты знаешь его имя? Ты обманулъ меня.

Давидъ (не слыша).

Безграничной дали времянь отдаю я духъ человѣка: да живетъ онъ безсмертно въ безсмертіи огня, да живетъ онъ безсмертно въ безсмертіи свѣта, который есть жизнь. И да остановится мракъ передъ жилищемъ безсмертнаго свѣта. Я счастливъ, я безсмертенъ — о Боже!

Анатэма (въ изступленіи).

Это ложь! О, докуда же я буду слушать этого глупца. Сѣверъ и югъ, востокъ и западъ, я зову васъ! Скорѣе, сюда, на помощь къ Діаволу! Четырьмя океанами слезъ хлыньте сюда и въ пучинѣ своей схороните человѣка! Сюда! Сюда!

(Никто не слышитъ воплей Анатэмы: ни Давидъ, весь озаренный восторгомъ безсмертія, ни Сура, ни другіе люди, приковавшіе свое вниманіе къ его торжественно-свѣтлому лицу и воздѣтымъ къ небу рукамъ. Одинокое мечется Анатэма, заклиная. Слышится крикъ, — и на дорогу, со стороны города выбѣгаетъ женщина, раскрашенная страшно, подобно тому какъ язычники раскрашиваютъ трупы умершихъ. Чьей-то злой рукой истерзаны ея одежды, ужасныя въ дешевой нарядности своей, и обезображено красивое лицо. Она кричитъ и плачетъ и зоветъ дико.)

Женщина.

О, Боже! Да гдѣ же Давидъ, раздающій богатство? Два дня и двѣ ночи, два дня и двѣ ночи по всему городу я ищу его, и молчатъ дома, и люди смѣются. О, скажите мнѣ, добрые, — не видали ль Давида, не видали ль Давида, радующаго людей? О, но не смотрите же на мою открытую грудь — это злой человѣкъ разорвалъ мнѣ одежды и окровавилъ мое лицо. О, да не смотрите же на мою открытую грудь: она не знала счастья питать невинныя уста.

Странникъ.

Давидъ здѣсь.

Женщина (падая на колѣни).

Давидъ здѣсь? О, сжальтесь надо мною, люди, и не обманывайте меня: я ослѣпла отъ обмана, и отъ лжи оглохла я. Такъ ли я слышу. — Давидъ здѣсь?

Безкрайній.

Да, вонъ онъ стоить. Но ты опоздала, онъ уже роздалъ богатство.

Пурикесь.

Онъ уже роздалъ богатство.

Женщина.

Что же вы дѣлаете со мной, люди! Два дня и двѣ ночи искала я его и меня обманывали, и вотъ я пришла поздно. Тогда я умру на дорогѣ — мнѣ некуда больше идти.

(Бьется въ слезахъ на пыльной дорогѣ.)

Анатэма.

Кажется, къ тебѣ пришли, Давидъ.

Давидъ (подходя).

Что надо этой женщинѣ?

Женщина (не поднимая головы).

Это ты, Давидъ, радующій людей?

Странникъ.

Да, это онъ.

Давидъ.

Да, это я.

Женщина (не поднимая головы).

Я не смѣю взглянуть на тебя. Ты долженъ быть, какъ солнце. (Нѣжно и довѣрчиво.) О, Давидъ, какъ я долго искала тебя... Меня все обманывали люди. Го-

ворили, что ты уѣхалъ, что тебя нѣтъ совсѣмъ и не было никогда. Одинъ мужчина сказалъ мнѣ, что онъ Давидъ, и онъ показался мнѣ добрымъ, и онъ поступилъ со мною, какъ грабитель.

Давидъ.

Встань.

Женщина.

О, дай мнѣ отдохнуть у твоихъ ногъ. Какъ птица, перелетѣвшая море — я избита дождемъ, я измучена бурями, я устала смертельно. (Плачетъ; довѣрчиво.) Теперь я спокойна, теперь я счастлива: я у ногъ Давида, радующаго людей.

Давидъ (нерѣшительно).

Но ты опоздала, женщина. Я уже роздалъ все, что имѣлъ, и у меня нѣтъ ничего.

Анатэма (развязно).

Да! Всѣ деньги розданы нами. Иди себѣ домой, женщина, — у насъ нѣтъ ничего. Намъ жаль тебя — но ты опоздала. Понимаешь — опоздала! Только сегодня утромъ мы отдали послѣднюю копейку.

Давидъ.

Не такъ жестоко, Нуллюсь.

Анатэма.

Но вѣдь это правда, Давидъ.

Женщина (недовѣрчиво).

Этого не можетъ быть. (Поднимая глаза.) Это ты, Леонидъ Андреевъ. XI.

Давидъ? Какой ты добрый. Это ты сказалъ, что я опоздала? Нѣтъ, это онъ — у него злое лицо. Давидъ, дай мнѣ, пожалуйста, немного денегъ и спаси меня. Я устала смертельно. А васъ зовутъ Сура? Вы жена его? — о васъ я также слыхала.

(Подползаетъ къ ней и цѣлуетъ ей платье.)

Женщина.

Заступитесь за меня, Сура.

Сура (плача).

Дай ей денегъ, Давидъ. Встань, милая, тутъ очень пыльно, а у тебя такіе красивые черные волосы. Посиди тутъ, отдохни. Давидъ сейчасъ дастъ тебѣ денегъ.

(Поднимаетъ женщину и сажаетъ подлѣ себя на камень и прижимаетъ къ своей груди ея голову; ласкается.)

Давидъ.

Но что же мнѣ дѣлать? (Растрянно, вытирая краснымъ платкомъ лицо.) Но что же мнѣ дѣлать, Нуллюсь? Ты такой умный человѣкъ, помоги мнѣ.

Анатэма (разводя руками).

Ей Богу, не знаю. Вотъ запись — у насъ нѣтъ ни копейки, и я честный адвокатъ, а не фальшивый монетчикъ, чтобы ежедневно доставлять вамъ наслѣдства изъ Америки. (Насвистываетъ.) Мнѣ нечего дѣлать, и я гуляю по міру.

Давидъ (возмущенно).

Это жестоко, Нуллюсь. Я не ожидалъ этого отъ васъ. Но что же дѣлать, что же дѣлать?

(Анатэма пожимаетъ плечами.)

Сура.

Посиди здѣсь, милая, я сейчасъ. Давидъ, отойдите со мною въ сторону — мнѣ нужно сказать вамъ.

(Отходятъ и шепчутся.)

Анатэма.

Васъ сильно били, женщина? Повидимому, это былъ не очень ловкій человѣкъ, который васъ билъ — онъ таки не выбилъ глаза, какъ хотѣлъ.

Женщина (закрываясь волосами).

Не смотрите на меня, люди.

Сура.

Нулюсь, подите-ка сюда.

Анатэма (подходя).

Здѣсь, госпожа Лейзеръ.

Давидъ (тихо).

Сколько у насъ денегъ, Нулюсь, чтобы доѣхать до Іерусалима?

Анатэма.

Триста рублей.

Давидъ.

Отдайте ихъ женщинѣ. (Улыбаясь и плача.) Сура не хочетъ уѣзжать въ Іерусалимъ. Она хочетъ торговать здѣсь до самой смерти. Какая глупая женщина, не правда ли, Нулюсь?

(Сдержанно плачетъ.)

Сура.

Тебѣ очень больно, Давидъ? Ты такъ хотѣлъ по-
ѣхать.

Давидъ.

Какая глупая женщина, Нуллюсь. Она не пони-
маетъ, что я тоже хочу торговать. (Плачетъ.)

Анатэма (растроганно).

Вы — не простой человѣкъ, Давидъ!!

Давидъ.

Это была моя мечта, Нуллюсь, умереть въ святомъ
городѣ и приобщить свой прахъ къ праху праведни-
ковъ, тамъ погребенныхъ. Но (улыбается) развѣ не
ездѣ добра земля къ мертвецамъ своимъ? Отдайте
деньги бѣдной женщинѣ. Мнѣ стало весело. Ну такъ
какъ же, Сура? Нужно открывать лавочку и по-
учиться у Сонки, какъ дѣлать хорошую содовую
воду.

Анатэма (торжественно).

Женщина! Давидъ, радующій людей, даетъ тебѣ
деньги и счастье.

Безкрайній (Сонкѣ).

Я же говорилъ тебѣ, что еще не всѣ деньги роз-
даны. У него милліоны.

Странникъ (прислушиваясь).

Такъ, такъ. Развѣ можетъ Давидъ отдать все?
Онъ только началъ отдавать.

(Женщина благодаритъ Давида и Суру; видно, какъ растро-
ганный Давидъ кладетъ руки на голову колѣнопреклоненной
женщины, какъ бы благословляя ее. За спиною его, со сто-

роны поля, показывается на дорогѣ что-то сѣрое, запыленное, медленно и тяжело ползущее. Въ молчаніи подвигается оно, и трудно повѣрить, что это люди — такъ сравняла ихъ сѣрая придорожная пыль, такъ побратала ихъ нужда и страданіе. Что-то тревожное есть въ ихъ глухомъ, непреклонномъ движеніи — и безпокойно приглядываются къ нимъ люди съ этой стороны.)

Безкрайній.

Кто это идетъ по дорогѣ?

Сонка.

Что-то сѣрое ползетъ по дорогѣ! Если это люди, то они не похожи на людей!

Пурикесь.

Ой, мнѣ страшно за Давида! Онъ стоитъ къ нимъ спиною и не видитъ. А они идутъ, какъ слѣпые.

Сонка.

Они сейчасъ сомнутъ его. Давидъ, Давидъ, оглянитесь.

Анатэма.

Поздно, Сонка! Давидъ васъ не услышитъ.

Пурикесь.

Но кто это? Я боюсь ихъ.

Странникъ.

Это — наши! Это слѣпые съ нашей стороны пришли за зрѣніемъ къ Давиду! (Громко.) Стойте, стойте, вы пришли! Давидъ среди васъ!

(Слѣпые, уже почти смявшіе испуганнаго Давида, который тщетно пытается противостоять наплывающей волнѣ — оста-

навливаются и ищутъ безглазно. Безсильно тянутся сѣрыми руками, нащупывая мертвое пространство; нѣкоторые уже отыскали Давида и быстро обѣгаютъ его чуткими пальцами — и голосами, подобными стону листвы подѣ осеннимъ вѣтромъ, еле колеблютъ застывшій воздухъ. Быстро наступившія сумерки скрадываютъ очертанія предметовъ и сѣдаютъ краски; и видно что-то безлицее, шевелящееся смутно, тоскующее тихо.)

Слѣпые.

Гдѣ Давидъ? — Помогите найти Давида. — Гдѣ Давидъ, радующій людей? — Онъ здѣсь. — Я уже чувствую его пальцами моими. — Это ты, Давидъ? — Гдѣ Давидъ? — Гдѣ Давидъ? — Это ты, Давидъ?

(Испуганные голоса изъ тьмы.)

Давидъ.

Это я, Давидъ Лейзеръ. Что вамъ надо отъ меня?

Сура (плача).

Давидъ, Давидъ, гдѣ ты? Я не вижу тебя.

Слѣпые (смыкаясь).

Вотъ Давидъ. — Это ты, Давидъ? — Давидъ. — Давидъ.

З а н а в ѣ с ѣ.

Пятая картина.

Пятая картина.

Высокая, строгая, нѣсколько мрачная комната — кабинетъ Давида Лейзера въ богатой виллѣ, гдѣ онъ доживаетъ послѣдніе дни. Въ комнатѣ два большихъ окна: одно напротивъ, выходитъ на дорогу къ городу; другое въ лѣвой стѣнѣ, выходитъ въ садъ. У этого окна большой рабочій столъ Давида, въ безпорядкѣ заваленный бумагами: — тутъ и маленькіе листки съ прошеніями отъ бѣдныхъ, записочки, наскоро сшитыя длинныя тетради; тутъ и большія толстыя книги, похожія на бухгалтерскія. Подъ столомъ и возлѣ него клочки разорванныхъ бумагъ; распластавшись и подвернувъ подъ себя листы, похожая на крышу дома, который разваливается, валяется корешкомъ вверхъ огромная библія, въ старинномъ, кожаномъ переплетѣ. Несмотря на жару, въ каминѣ горятъ дрова — у Давида Лейзера лихорадка, ему холодно.

Вечерѣть. Сквозь опущенныя завѣсы, въ окна еще пробивается слабый сумеречный свѣтъ, но въ комнатѣ уже темно. И только маленькая лампочка на столѣ выхватываетъ изъ мрака бѣлыя пятна двухъ сѣдыхъ головъ: Давида Лейзера и Анатэмы.

Давидъ сидитъ за столомъ. Давно нечесанные сѣдые волосы и борода придаютъ ему дикій и страшный видъ; лицо измучено, глаза открыты широко; схватившись обѣими руками за голову, онъ напряженно вглядывается сквозь большія очки-лупы въ стальной оправѣ въ исчерченную карандашемъ бумагу, отбрасываетъ ее, хватается за другую, судорожно перелистываетъ толстую книгу. И, держась рукою за спинку его кресла, стоитъ надъ нимъ Анатэма. Онъ какъ будто не замѣчаетъ Давида — такъ онъ неподвиженъ, задумчивъ и строгъ. Шутки кончились; и, какъ жнецъ передъ

жатвою, уходитъ онъ взоромъ въ тревожную безграничность полей.

Окна закрыты, но сквозь стекла и стѣны доносится сдержанный гулъ и отдѣльные вскрики. И медленно нарастаетъ онъ, колеблясь въ силѣ и страстности: то призванные Давидомъ осаждаютъ жилище его.

Молчаніе.

Давидъ.

Оно распылилось, Нуллюсь! Гора, достигавшая неба, раскололась на камни, камни превратились въ пыль и вѣтеръ унесъ ее — гдѣ же гора, Нуллюсь? Гдѣ же миллионы, которые ты мнѣ принесть? Вотъ уже часъ я ищу въ бумагахъ копейку, одну только копейку, чтобы дать ее просящему, и ея нѣтъ. — Что это валяется тамъ?

Анатѣма.

Библия.

Давидъ.

Нѣтъ, нѣтъ, вонъ тамъ, въ бумагахъ? Подай сюда. Это вѣдомость, которую, кажется, я еще не смотрѣлъ. Вотъ будетъ счастье, Нуллюсь! (Напряженно смотреть.) Нѣтъ, все перечеркнуто. Смотри, Нуллюсь, смотри: сто, потомъ пятьдесятъ, потомъ двадцать, — потомъ одна копейка. Но не могу же я отнять у него копейку?

Анатѣма.

Шесть, восемь, двадцать — вѣрно.

Давидъ.

Да нѣтъ же, Нуллюсь: сто, пятьдесятъ, двадцать — копейка. Оно распылилось, оно утекло сквозь паль-

цы, какъ вода. И уже сухи пальцы — и мнѣ холодно, Нуллюсь!

Анатэма.

Здѣсь жарко.

Давидъ.

Я тебѣ говорю, Нуллюсь, здѣсь холодно. — Подбрось полѣньевъ въ каминъ... нѣтъ, погоди. — Сколько стоитъ полѣно? Я забылъ: сколько стоитъ полѣно?.. О, оно стоитъ много, отложи его, Нуллюсь, — этотъ проклятый огонь пожираетъ дерево такъ легко, какъ будто не знаетъ онъ, что каждое полѣно — жизнь. Постой Нуллюсь... у тебя прекрасная память, ты не забываешь ничего, какъ книга, — не помнишь ли ты, сколько я назначилъ Абраму Хессину?

Анатэма.

Сначала пятьсотъ.

Давидъ.

Ну да, Нуллюсь — онъ же мой старый другъ, мы играли вмѣстѣ! И для друга это совсѣмъ немного — пятьсотъ. Ну да, конечно, онъ мой старый другъ, и навѣрно я пожалѣлъ его, и до конца оставилъ ему больше, нежели другимъ — вѣдь дружба такое нѣжное чувство, Нуллюсь. Но нехорошо, если изъ-за друга человѣкъ обижаетъ чужихъ и далекихъ — у нихъ нѣтъ друзей и защиты. И мы урѣжемъ у Абрама Хессина, мы совсѣмъ немного урѣжемъ у Хессина... (Со страхомъ.) Скажи, сколько теперь я назначилъ Абраму?

Анатэма.

Одну копейку.

Давидъ.

Этого не можетъ быть! Скажи, что ты ошибся! Пожалѣй меня и скажи, что ты ошибся, Нуллюсь! Этого не можетъ быть — Абрамъ мой другъ — мы съ нимъ играли вмѣстѣ. Ты понимаешь, что это значитъ, когда дѣти играютъ вмѣстѣ, а потомъ они вырастаютъ, и у нихъ становятся сѣдые бороды, и вмѣстѣ улыбаются они надъ минувшимъ. У тебя также сѣдая борода, Нуллюсь...

Анатэма.

Да, у меня сѣдая борода. Ты назначилъ Абраму Хессину одну копейку.

Давидъ

(хватаетъ Анатэму за руку, шопотомъ).

Но она сказала, что ребенокъ умретъ, Нуллюсь — что онъ уже умираетъ. Пойми же меня, мой старый другъ: мнѣ необходимо имѣть деньги. Ты такой славный, ты (гладить ему руку) ты такой добрый, ты помнишь все, какъ книга — поищи еще немного.

Анатэма.

Опомнись, Давидъ, тебѣ измѣняетъ разумъ. Уже двое сутокъ ты сидишь за этимъ столомъ и ищешь то, чего нѣтъ. Выйди къ народу, который ждетъ тебя, скажи ему, что у тебя нѣтъ ничего, и отпусти.

Давидъ (гнѣвно).

Но развѣ уже десять разъ не выходилъ я къ народу и не говорилъ имъ, что у меня нѣтъ ничего? — Ушелъ ли хоть одинъ изъ нихъ? Они стоятъ и ждутъ,

и тверды въ горѣ своемъ, какъ камень, настойчивы, какъ дитя у груди матери. Развѣ спрашиваетъ дитя, есть ли въ груди матери молоко? Оно хватаетъ сосцы зубами и рветъ ихъ безпощадно. Когда я говорю, они молчатъ и слушаютъ, какъ разумные; когда же умолкаю я — въ нихъ вселяется бѣсъ отчаянія и нужды и вопить тысячью голосовъ. Не все ли я имъ отдалъ, Нуллюсь? Не всѣ ли выплакалъ я слезы? Не всю ли кровь изъ сердца я отдалъ имъ? — Чего же они ждуть, Нуллюсь? Чего они хотятъ отъ бѣднаго еврея, который уже истощилъ свою жизнь?..

Анатэма.

Они ждуть чуда, Давидъ.

Давидъ (вставая, со страхомъ).

Молчи, Нуллюсь, молчи — ты искушаешь Бога. Кто я, чтобы творить чудеса? Опомнись, Нуллюсь. Могу ли я изъ одной копейки сдѣлать двѣ? Могу ли я подойти къ горамъ и сказать: горы земли, станьте горами хлѣба и утолите голодъ голодныхъ? Могу ли я подойти къ океану и сказать: море воды, соленой, какъ слезы, стань моремъ молока и меда и утоли жажду жаждущихъ? Подумай, Нуллюсь!

Анатэма.

Ты видѣлъ слѣпыхъ?

Давидъ.

Голько разъ я осмѣлился поднять глаза — но я видѣлъ странныхъ сѣрыхъ людей, которымъ плюнулъ кто-то бѣлымъ въ глаза, и они ощупываютъ воздухъ, какъ опасность, и земли боятся, какъ страха. Чего имъ надо, Нуллюсь?

Анатэма.

Видѣлъ ли ты больныхъ и увѣчныхъ, у которыхъ не хватаетъ членовъ, и они ползаютъ по землѣ? Изъ-подъ земли выходятъ они, какъ кровавый потъ — трудится ими земля.

Давидъ.

Молчи, Нуллюсь!

Анатэма.

Видѣлъ ли ты людей, которыхъ жжетъ совѣсть: темно ихъ лицо и какъ бы огнемъ опалено оно, а глаза окружены бѣлымъ кольцомъ и бѣгаютъ по кругу, какъ бѣшеные кони? Видѣлъ ли ты людей, которые смотрятъ прямо, а въ рукахъ имѣютъ длинные посохи для измѣренія пути? — Это ищущіе правды.

Давидъ.

Я не смѣлъ глядѣть больше.

Анатэма.

Слышалъ ли ты голосъ земли, Давидъ?

(Входитъ Сура и боязливо приближается къ Давиду.)

Давидъ.

Это ты, Сура? Затворяй двери крѣпко, не оставляй щели за собою. Чего тебѣ надо, Сура?

Сура (со страхомъ и вѣрою).

Развѣ не все еще готово, Давидъ? Поторопись же и выйди къ народу: онъ уже усталъ ждать, и многіе боятся смерти. Отпусти этихъ, ибо идутъ новые, Давидъ, и уже скоро не останется мѣста, гдѣ бы могъ стать человѣкъ. И уже истощилась вода въ

фонтанахъ и не несутъ изъ города хлѣба, какъ ты приказалъ, Давидъ.

Давидъ

(поднимая руки, съ ужасомъ).

Проснись, Сура, лукавыми сѣтями опуталъ тебя сонъ, и безуміемъ любви отравлено сердце. Это я, Давидъ! . . (Со страхомъ.) И я не приказывалъ принести хлѣба.

Сура.

Если еще не готово, Давидъ, то они могутъ подождать. Но прикажи зажечь огни и дать постилокъ для женщинъ и дѣтей: ибо уже скоро наступитъ ночь и охолодѣетъ земля. И прикажи дать дѣтямъ молока — они голодны. Тамъ, вдали мы слышали топотъ многочисленныхъ ногъ: то не стада ли коровъ и козъ, у которыхъ вымя отвисло отъ молока, гонять сюда по твоему приказу?

Давидъ (хрипло).

О Боже мой, Боже! . .

Анатэма (Сурѣ тихо).

Уйдите, Сура: Давидъ молится. Не мѣшайте его молитвѣ.

(Сура также боязливо и осторожно уходитъ.)

Давидъ.

Пощады! Пощады!

(Гулъ за окнами утихаетъ — затѣмъ сразу становится шумнымъ и грознымъ: это Сура возвѣстила народу, что необходимо ждать еще.)

Давидъ (падая на колѣни).

Пощады! Пощады!

Анатэма (повелительно).

Встань, Давидъ! Будь мужемъ передъ лицомъ великаго страха. Не ты ли призвалъ ихъ сюда? Не ты ли голосомъ любви громко воззвалъ въ безмолвіе и тьму, гдѣ почиваетъ неизреченный ужасъ. И вотъ они пришли къ тебѣ — сѣверъ и югъ, востокъ и западъ, и четыремя океанами слезъ легли у ногъ твоихъ. Встань же, Давидъ! (Поднимаетъ Давида.)

Давидъ.

Что же мнѣ дѣлать, Нуллюсь?

Анатэма.

Скажи имъ правду.

Давидъ.

Что же мнѣ дѣлать, Нуллюсь? Не взять ли мнѣ веревку и, повѣсивъ на деревѣ, не удавиться ли мнѣ, какъ тому, кто предалъ однажды? Не предатель ли я, Нуллюсь, зовущій, чтобы не дать, любящій, чтобы погубить? Ой, какъ болить сердце!... Ой, какъ бо-
литъ сердце, Нуллюсь! Ой, холодно мнѣ, какъ землѣ, покрытой льдомъ, а внутри ея жаръ и бѣлый огонь. Ой, Нуллюсь, — видалъ ли ты бѣлый огонь, на которомъ чернѣетъ луна и солнце сгораетъ, какъ желтая солома! (Мечется.)

Давидъ.

Ой, спрячь меня, Нуллюсь. Нѣтъ ли темной комнаты, куда не проникъ бы свѣтъ, нѣтъ ли такихъ

крѣпкихъ стѣнъ, гдѣ не слышалъ бы я этихъ голосовъ? Куда зовутъ они меня? Я же старый, больной человѣкъ, я же не могу мучиться такъ долго — у меня же самого были маленькія дѣти, и развѣ не умерли они? Какъ ихъ звали, Нуллюсь? Я забылъ. Кто этотъ, кого зовутъ Давидъ, радующій людей?

Анатэма.

Такъ звали тебя, Давидъ Лейзеръ. Ты обмануть, Лейзеръ, ты обмануть, какъ и я!

Давидъ (умоляя).

Ой, заступитесь же за меня, господинъ Нуллюсь. Пойдите къ нимъ и скажите громко, чтобы всѣ слышали: Давидъ Лейзеръ — старый больной человѣкъ, и у него нѣтъ ничего. Они васъ послушаютъ, господинъ Нуллюсь, у васъ такой почтенный видъ, и они уйдутъ по домамъ.

Анатэма.

Такъ, такъ, Давидъ. Вотъ уже ты видишь правду и скоро скажешь ее людямъ. Х-ха! Кто сказалъ, что Давидъ Лейзеръ можетъ творить чудеса?

Давидъ (складывая руки).

Да, да, Нуллюсь.

Анатэма.

Кто смѣетъ требовать отъ Лейзера чудесъ, развѣ онъ не старый больной человѣкъ — смертный, какъ и всѣ?

Давидъ.

Да, да, Нуллюсь, человѣкъ.

Анатэма.

Не обманула ли Лейзера любовь? Она сказала: я сдѣлаю все—и только пыль подняла на дорогѣ, какъ слѣпой вѣтеръ изъ-за угла, который вырывается съ шумомъ и ложится тихо... который слѣпитъ глаза и тревожитъ соръ. Такъ пойдите же къ Тому, кто далъ Давиду любовь, и спросите его: зачѣмъ ты обмануль брата нашего Давида?

Давидъ.

Да, да, Нуллюсь! Зачѣмъ человѣку любовь, когда она безсильна? Зачѣмъ жизнь, если нѣтъ безсмертія?

Анатэма (быстро).

Выйди и скажи имъ это — они послушаютъ тебя. Они поднимутъ свой голосъ къ небу, и мы услышимъ отвѣтъ неба, Давидъ! Скажи имъ правду, и ты поднимешь землю.

Давидъ.

Я иду, Нуллюсь! И я скажу имъ правду, — я никогда не лгалъ. Открой двери, Нуллюсь.

(Анатэма поспѣшно распахиваетъ дверь на балконъ и почтительно пропускаетъ Давида, который идетъ, нахмурившись, поступью медленной и важной. Закрываетъ за Давидомъ дверь. Мгновенный ревъ смѣняется могильной тишиной, въ которой невнятно и слабо дрожитъ голосъ Давида. И въ изступленіи мечется по комнатѣ Анатэма.)

Анатэма.

А! Ты не хотѣлъ слушать меня—такъ послушай же ихъ. А! Ты заставлялъ меня ползать на брюхѣ, какъ собаку. Ты не позволялъ мнѣ заглянуть даже въ щель!.. Ты молчаніемъ смѣялся надо мною!.. Непо-

движностью убивалъ меня. Такъ слушай же — и возрази, если можешь. Это не Діаволь говоритъ съ тобою, это не сынъ зари возвышаетъ свой смѣлый голосъ — это человѣкъ, это твой любимый сынъ, твоя забота, твоя любовь, твоя нѣжность и гордая надежда... извивается подъ твоею пятою, какъ червь. Ну? Молчишь? Солги ему громомъ, молніями обмани его, какъ смѣетъ смотрѣть онъ въ небо? Пусть какъ Анатэма...

(Ноетъ.)

Бѣдный, обиженный Анатэма, который ползаетъ на брюхѣ, какъ собака... (Яростно.) Пусть снова уползетъ человѣкъ въ свою темную нору, сгинетъ въ безмолвіи, хоронится во мракѣ, гдѣ почиваетъ неизреченный ужасъ.

(За окнами снова многоголосый ревъ.)

Анатэма.

Слышишь? (Насмѣшливо.) Это не я. Это — они. Шесть, восемь, двадцать — вѣрно. У Діавола всегда вѣрно...

(Распахивается дверь и вбѣгаетъ Давидъ, охваченный ужасомъ. За нимъ волною врывается крикъ. Давидъ запираетъ дверь и придерживаетъ ее плечомъ.)

Давидъ.

Помогите, Нуллюсь! Они сейчасъ ворвутся сюда — дверь такая непрочная, они ломаютъ ее.

Анатэма.

Что они говорятъ?

Давидъ.

Они не вѣрятъ, Нуллюсь. Они требуютъ чуда.

Но развѣ мертвые кричатъ? — Я видѣлъ мертвыхъ, которыхъ принесли они.

Анатэма (яростно).

Тогда солги имъ, еврей?!

(Давидъ отходитъ отъ двери и говоритъ таинственно въ смущеніи и страхѣ.)

Давидъ.

Вы знаете, Нуллюсь, со мною что-то дѣлается: у меня нѣтъ ничего, но вотъ вышелъ я къ нимъ, но вотъ увидѣлъ я ихъ, и вдругъ почувствовалъ, что это неправда — у меня есть что-то. И говорю — а самъ не вѣрю, говорю — а самъ стою съ ними и кричу противъ себя и требую яростно. Устами я отрекаюсь, а сердцемъ обѣщаю, а глазами кричу: да, да, да. — Что же дѣлать, Нуллюсь? Скажите, вы знаете навѣрное: у меня нѣтъ ничего?

(Анатэма улыбается. За дверью справа голосъ Суры и стукъ.)

Сура.

Впустите меня, Давидъ.

Давидъ.

О, не открывайте дверь, Нуллюсь.

Анатэма.

Это жена твоя, Сура.

(Отворяетъ. Входитъ Сура, ведя за руку блѣдную женщину, у которой что-то на рукахъ.)

Сура (кратко).

Простите, Давидъ. Но эта женщина говоритъ, что

она больше не можетъ ждать. Она говоритъ, что если вы помедлите еще немного, то она не узнаетъ въ воскресшемъ своего ребенка. Если вамъ нужно знать имя --- то его звали Мойше, маленькій Мойше. Онъ черненькій — я смотрѣла.

Женщина (падая на колѣни).

Простите, Давидъ, что я отнимаю очередь у людей. Но тамъ есть, которые умерли недавно, а я уже три дня и три ночи несу его на груди. Можетъ быть, вамъ нужно на него взглянуть? Тогда я открою — вѣдь я не обманываю васъ, Давидъ.

Сура.

Я уже смотрѣла, Давидъ. Она мнѣ давала его подержать. Она очень устала, Давидъ.

(Простерши руки ладонями впередъ, Давидъ медленно отступаетъ, пока не натывается на стѣну. Такъ и остается съ протянутыми руками.)

Давидъ.

Попады! Попады!

(Обѣ женщины ждутъ терпѣливо.)

Давидъ.

Что же мнѣ дѣлать? Я изнемогаю, о Боже. Ну-люсь, скажите имъ, что я не воскрешаю мертвыхъ.

Женщина.

Я умоляю васъ, Давидъ. Развѣ я прошу васъ, чтобы вы вернули жизнь старому человѣку, который уже много жилъ и заслужилъ смерть дурными дѣлами? Развѣ я не понимаю, кого можно воскрешать

и кого нельзя? Но, можетъ быть, вамъ трудно, потому что онъ умеръ такъ давно? — Я не знала этого, — простите меня, но я же обѣщала ему, когда онъ умиралъ: — не бойся, Мойше, умирать — Давидъ, радующій людей, вернетъ тебѣ твою маленькую жизнь.

Давидъ.

Покажи мнѣ его.

(Смотрить, качая головой, и плачетъ тихонько, вытираясь краснымъ платкомъ; и довѣрчиво, опершись на его плечо, смотреть Сура.)

Сура.

Сколько ему лѣтъ?

Женщина.

Два года, уже третій.

(Давидъ оборачиваетъ къ Анатѣмъ заплаканное, почти безумное лицо и говорить чужимъ голосомъ.)

Давидъ.

Не попробовать ли мнѣ, Нуллюсь? (Но вдругъ сгибается и кричитъ хрипло): Адэной!.. Адэной!.. Прочь отсюда! Прочь! Тебя прислалъ Діаволь. Да скажите же имъ, Нуллюсь, что я не воскрешаю мертвыхъ. Онѣ смѣяться надо мною пришли! Смотрите, вонъ онѣ хохочутъ обѣ. Прочь отсюда! Прочь!

Анатэма (Сура тихо).

Уходите, Сура, и уведите женщину. Давидъ еще не совсѣмъ готовъ.

Сура (шопотомъ).

Я проведу ее къ себѣ. Тогда скажите Давиду, что

она въ моей комнатѣ. (Къ женщинѣ.) Пойдемте, женщина, — Давидъ еще не совсѣмъ готовъ.

(Уходятъ. Давидъ въ изнеможеніи садится на кресло и безсильно опускаетъ сѣдую голову. Тихонько причитаетъ что-то.)

Анатэма.

Онѣ ушли, Давидъ. Вы слышите, онѣ ушли.

Давидъ.

Вы видѣли, Нуллюсь: это былъ мертвый младенецъ? Ай, ай, ай, ай, это былъ мертвый, мертвый, мертвый младенецъ. Мойше... Ну да, Мойше, черненькій; мы его смотрѣли... (Громко, въ тоскѣ и отчаяніи.) Что же мнѣ дѣлать? Научите меня, Нуллюсь.

Анатэма (быстро).

Бѣжать.

(Прислушивается къ тому, что дѣлается за окномъ, утвердительно киваетъ головой, и медленно, съ осторожностью заговорщика приближается къ Давиду; и со сложенными молитвенно руками, съ растерянно довѣрчивой улыбкою ждетъ его приближенія Давидъ. Спина его по-стариковски согнута, онъ часто вынимаетъ свой красный платокъ, но не знаетъ, что съ нимъ дѣлать.)

Анатэма (горячимъ шопотомъ).

Бѣжать, Давидъ, бѣжать.

Давидъ (радостно).

Да, да, Нуллюсь, — бѣжать.

Анатэма.

Я спрячу тебя въ темной комнатѣ, которой никто

не знаетъ; а когда они уснутъ, утомленные ожиданіемъ и голодомъ, я проведу тебя среди спящихъ — и спасу тебя.

Давидъ (радостно).

Да, да, спаси меня.

Анатэма.

А они будутъ ждать! Спящіе, они будутъ ждать и грезить грезами великаго ожиданія, — а тебя уже нѣтъ!

Давидъ

(радостно кивая головой).

А меня уже нѣтъ, Нуллюсь. Я уже убѣжалъ, Нуллюсь (хохочетъ).

Анатэма (хохочетъ).

А тебя уже нѣтъ! Ты уже убѣжалъ! Пусть же тогда поговорятъ они съ небомъ.

(Смотрятъ другъ на друга и хохочутъ.)

Анатэма (дружески).

Такъ подожди меня, Давидъ. Я сейчасъ выйду и посмотрю: свободенъ ли домъ. Вѣдь они такіе безумцы!

Давидъ.

Да, да, посмотри. Вѣдь они такіе безумцы! А я пока приготавлиюсь, Нуллюсь... Но прошу тебя, не оставляй меня долго одного.

(Анатэма выходитъ. Давидъ осторожно, на цыпочкахъ подходитъ къ окну и хочетъ заглянуть, но не рѣшается; идетъ къ столу — но пугается разбросанныхъ бумагъ, и стараясь не наступить ни на одну изъ нихъ, словно танцуя среди мечей, пробирается къ углу, гдѣ виситъ его платье; торо-

пливо, путая одежду, начинает одѣваться. Долго не знаетъ, что дѣлать ему съ бородою, и догадавшись, начинаетъ записывать ее за борты сюртука, скрывать подъ сюртукомъ.)

Давидъ (бормочетъ).

Ну да. Нужно спрятать бороду. Всѣ дѣти знаютъ мою бороду. Но только зачѣмъ они не вырвали ее? Такъ, такъ, борода... Но какой черный сюртукъ! Ничего, ничего, ты ее спрячешь. Такъ, такъ. У Розы было зеркало... Но Роза убѣжала, а Наумъ тоже умеръ, а Сура... ахъ, ну что же не идетъ Нуллюсь. Развѣ онъ не слышитъ, какъ они кричатъ?..

(Въ дверь осторожный стукъ.)

Давидъ (испуганно).

Кто тамъ? Давида Лейзера здѣсь нѣтъ.

Анатэма.

Это я, Давидъ,пусти.

(Входитъ.)

Давидъ.

Ну какъ, Нуллюсь? — не правда ли, меня совсѣмъ нельзя узнать?

Анатэма.

Очень хорошо, Давидъ. Но только я не знаю, какъ мы выйдемъ: Сура весь домъ наполнила гостями: во всѣхъ комнатахъ, гдѣ я ни былъ, васъ съ пріятною улыбкой ждутъ слѣпые, увѣчные; есть и умирающіе, есть и совсѣмъ мертвые, Давидъ. Ваша Сура великолѣпная женщина, но она слишкомъ хозяйка, Давидъ, и намѣрена сдѣлать прекрасное хозяйство изъ чудесь.

Давидъ.

Но она не смѣетъ, Нуллюсь!

Анатэма.

Многіе уже спятъ у вашихъ дверей и улыбаются во снѣ — самоувѣренные счастливы, сумѣвшие опередить другихъ... А въ саду и во дворѣ...

Давидъ (со страхомъ).

Что еще во дворѣ?

Анатэма.

Тише Давидъ. Смотрите и слушайте.

(Гаситъ въ комнатѣ огонь и затѣмъ раздергиваетъ драпри: четыреугольники оконъ наливаются дымно-краснымъ, клубящимся свѣтомъ; въ комнатѣ темно, — но все бѣлое: голова Давида, разбросанные листки бумаги, окрашивается слабымъ кровавымъ цвѣтомъ.)

(И уродливыя, дымно-багровыя тѣни безмолвно движутся по потолку; машутъ руками, сталкиваются, вдругъ слетаются въ длинную вереницу, не то бѣгутъ быстро, не то предаются дикому и страшному танцу. А изъ глубокой дали приносится новый, еще не слышанный гулъ — если бы море вышло изъ береговъ и двинулось на сушу, то такъ бы грохотало оно: сдержанно, неотвратно и грозно.)

Давидъ (испуганно шопотомъ).

Что это за огонь, Нуллюсь? Мнѣ страшно.

Анатэма (также шопотомъ).

Ночь холодна, и они зажгли костры. Сура сказала, что ждать еще долго, и они приняли мѣры.

Давидъ.

Откуда они взяли дерево?

Анатэма.

Что-нибудь сломали. Сура сказала, что ты приказалъ развести костры, и они покорно жгутъ дерево, какое есть... А тамъ, Давидъ, дальше, еще дальше...

Давидъ (въ отчаяніи).

Что, Нуллюсь? Что можетъ быть еще дальше, еще дальше?

Анатэма.

Не знаю, Давидъ. Но изъ верхняго окна, открытаго широко, я слышалъ какъ бы ревъ океана въ часъ прибоя, когда дрожать отъ боли скалы; какъ бы ревъ мѣдныхъ трубъ слышалъ я, Давидъ — онѣ кричать къ небу и къ вамъ и зовутъ васъ... Вы слышите?

(Въ сдержанномъ гулѣ и хаосѣ звуковъ какъ бы вычерчивается протяжно и долго: Да-а-ви-и-дъ. Да а-ви-и-дъ, Да-а-ви-и-дъ.)

Давидъ.

Я слышу свое имя. Кто это? Чего имъ надо?

Анатэма.

Не знаю. Быть можетъ, они хотятъ вѣнчать тебя на царство.

Давидъ.

Меня?

Анатэма.

Тебя, Давидъ Лейзеръ. Быть можетъ, они несутъ могущество и власть — и силу творить чудеса — не хочешь ли стать ихъ богомъ, Давидъ? Смотри и слушай.

(Распахиваетъ окна. И сразу, въ клубахъ огненного дыма побѣдной и сильной волной вливается отдаленная музыка —

мѣдный крикъ многочисленныхъ трубъ, которыя несутъ въ высоко приподнятыхъ рукахъ, ибо къ землѣ и небу обращенъ ихъ призывный вопль. Смолкають трубы. Топотъ движущихся полчищъ, призывный вопль безчисленныхъ голосовъ: Да-а-ви-и-дъ, Да-а-ви-и-дъ — переходитъ въ аккорды, становится пѣсней. И снова трубы. И снова настойчивый, грозный и властный призывъ:

— Да-а-ви-и-дъ, Да-а-ви-и-дъ.

При первыхъ звукахъ трубъ Давидъ, пошатнувшись, прижался къ стѣнѣ; затѣмъ шагъ за шагомъ — все смѣлѣе — все быстрѣе — все прямѣе онъ подвигается къ окну. Взглядываетъ — и, оттолкнувъ Анатэму, протягиваетъ обѣ руки навстрѣчу бѣднымъ земли.)

Давидъ (зоветъ).

Сюда! Сюда! Ко мнѣ. Я здѣсь. Я съ вами.

Анатэма (изумленно).

Что? Ты ихъ зовешь? — Ты — ихъ — зовешь? Опомнись, Лейзеръ!

Давидъ (гнѣвно).

Молчи — ты не понимаешь! Мы люди, и мы пойдемъ вмѣстѣ! (Восторженно.) И мы пойдемъ вмѣстѣ! Сюда братья, сюда. Смотри, Нуллюсь — они подняли головы, они смотрятъ, они слышали. Сюда, сюда!

Анатэма.

Ты будешь творить чудеса?

Давидъ (гнѣвно).

Молчи — ты чужой. Ты говоришь, какъ врагъ Бога и людей. Ты не знаешь ни жалости, ни пощады. Мы истомились, мы устали — и уже мертвые устали ждать. Сюда — и мы пойдемъ вмѣстѣ. Сюда!

Анатэма (вглядываясь).

Не слѣпые ли указываютъ имъ путь?

Давидъ.

Кому же надо зрѣніе, какъ не слѣпымъ? Сюда, слѣпые!

Анатэма (вглядываясь).

Не безногіе ли бороздятъ дорогу и глотаютъ пыль?

Давидъ.

Кому же дорога, какъ не безногимъ? Сюда, увѣчные!

Анатэма (вглядываясь).

Не мертвыхъ ли несутъ они на носилкахъ, показываясь мѣрно? Всмотрись, Давидъ, и осмѣлься сказать: сюда, ко мнѣ. Я тотъ, кто воскрешаетъ мертвыхъ...

Давидъ (терзаясь)

Ты не знаешь любви, Нуллюсь.

Анатэма.

Я тотъ, кто возвращаетъ зрѣніе слѣпымъ (въ окно, громко). Сюда! Народъ земли, взыскующіе Бога, стечитесь всѣ къ ногамъ Давида — онъ здѣсь!

Давидъ.

Тише.

Анатэма.

Эй, сюда! Тоскующія матери — отцы, потерявшіе разсудокъ отъ горя — братья и сестры, въ корчахъ голода пожирающіе другъ друга... сюда, къ Давиду, радующему людей.

Давидъ (хватая его за плечо).

Вы съ ума сошли, Нуллюсь. Они могутъ услышать и ворваться сюда — что вы дѣлаете, вы подумайте, Нуллюсь!

Анатэма (кричить).

Васъ зоветъ Давидъ!

Давидъ

(съ силой оттаскивая его отъ окна).

Молчи! Я задушу тебя, если ты крикнешь хоть слово — собака!

Анатэма (вырываясь).

Ты глупъ, какъ человѣкъ: когда я зову бѣжать, ты проклинаешь меня. Когда зову любить — ты меня душишь. (Презрительно.) Человѣкъ!

Давидъ (дряхлѣя).

Ой, не губите же меня, господинъ Нуллюсь. Ой, простите же меня, если я разгнѣвалъ васъ, старый глупый человѣкъ, потерявшій память. Но вѣдь я же не могу — я не могу творить чудесъ!

Анатэма.

Бѣжимъ...

Давидъ.

Да, да, бѣжимъ. (Съ недовѣріемъ.) Но куда? Куда хотите вести меня, Нуллюсь? Развѣ есть мѣсто на землѣ, гдѣ не было бы... (Терзаясь.) Бога?

Анатэма.

Я къ Богу поведу тебя.

Давидъ.

Я не хочу. Что скажетъ мнѣ Богъ? И что я отвѣчу Богу? И подумайте, Нуллюсь, развѣ я могу теперь хоть что-нибудь отвѣтить Богу?

Анатэма.

Я поведу тебя въ пустыню. Мы оставимъ здѣсь этихъ злыхъ и порочныхъ людей, одержимыхъ чесоткою страданій и заваливающихъ столбы и ограды, какъ свиньи, которыя чешутся.

Давидъ (нерѣшительно).

Но они же люди, Нуллюсь.

Анатэма.

Откажись отъ нихъ и чистый встань въ пустынѣ передъ лицомъ Бога. Пусть камень будетъ твоимъ ложемъ, пусть воющій шакаль станетъ другомъ твоимъ, пусть только небо и песокъ услышать покаянные стоны Давида — ни одного пятнышка чужого грѣха не выступить на чистомъ снѣгѣ его души. Кто остается съ прокаженными, тотъ самъ заболѣваетъ проказою — и только въ одиночествѣ узришь ты Бога. Въ пустыню, Давидъ, въ пустыню.

Давидъ.

Я буду молиться!

Анатэма.

Ты будешь молиться.

Давидъ.

Я изнурю тѣло постомъ!

Анатэма.

Ты изнуришь тѣло постомъ.

Давидъ.

Я посыплю голову пепломъ!

Анатэма.

Зачѣмъ? Такъ дѣлають несчастные. Ты же будешь счастливъ, Давидъ, въ безгрѣшности твоей. Въ пустыню, Давидъ, въ пустыню.

Давидъ.

Въ пустыню, Нулюсь, въ пустыню!

Анатэма (поспѣшно).

Бѣжимъ. Есть подвалъ, о которомъ никто не знаетъ. Тамъ валяются старыя бочки и пахнетъ виномъ, и я спрячу тебя. А когда они уснутъ...

Давидъ.

Въ пустыню! Въ пустыню!

(Поспѣшно убѣгаютъ. Въ комнатѣ беспорядокъ и тишина. А въ открытое окно, призывая, вновь несется крикъ мѣдныхъ трубъ, стоны и вопли поднявшейся земли. Да-а-ви-и-дъ! И, подогнувъ листы, какъ домъ, который разваливается, корешкомъ вверхъ, лежитъ библія.)

Медленно опускается занавѣсъ.

Шестая картина.

Шестая картина.

Всю ночь и часть слѣдующаго дня Давидъ Лейзеръ скрывался въ заброшенной каменоломнѣ, куда привелъ его Анатѣма, знающій мѣста дикія и недоступныя для взоровъ. Къ вечеру же, по совѣту Анатѣмы, они вышли изъ убѣжища на большую дорогу и направили свой путь къ востоку; но уже первый человѣкъ, встрѣтившій Давида, узналъ его, такъ велика была слава Давида, и не было женщины, ребенка или взрослога мужчины, которые не видѣли бы его сами или не знали о немъ по описаніямъ. И узнавшій Давида, закричалъ отъ радости и побѣждалъ къ городу, радостно возвѣщая, что потерянный найденъ. И уже черезъ короткое время несмѣтныя полчища бѣдняковъ, осаждавшихъ жилище Давида и близкихъ къ отчаянію, двинулись въ погоню; къ нимъ присоединились люди большихъ дорогъ и деревень и всѣ, кто ищетъ Бога. Полагая, что Давидъ бѣжалъ отъ народа не по своему желанію и волѣ, но былъ похищенъ княземъ Ужаса и Тьмы, безчисленные друзья Давида рѣшились отбить его у похитителя и предложить ему царство надъ всѣми бѣдными земли.

Давидъ же, испуганный ревомъ надвигавшейся погони, припалъ къ Анатѣмѣ, прося у него спасенія или смерти. И Анатѣма, свернувъ съ большой дороги, ввелъ Давида въ сѣть маленькихъ тропинокъ, имѣющихъ начало, но не имѣющихъ конца, ибо кружатся онѣ. Не было исхода, и уже началъ отчаяваться Давидъ, когда хитрый Анатѣма покинулъ, наконецъ, обманчивыя тропинки; и вотъ пошли они прямо на гуль далекаго моря въ надеждѣ достать у рыбаковъ лодку и спастись, или же погибнуть въ волнахъ. И еще ночь, и еще день блуждали они, и изнемогъ Давидъ отъ усталости: ибо шли они прямо, и множество высокихъ оградъ, ручьевъ, глубокихъ рвовъ и другихъ препятствій встрѣчало ихъ на пути. Уже близилось солнце къ закату, когда, перелѣзши послѣднюю полуразрушенную ограду, до-

стигли они берега моря, и ужаснулся Давидъ: то была высокая скала, не имѣвшая спуска, и въ то же время столь близкая къ городу, что можно было разглядѣть неясныя очертанія его строеній.

И шестая картина такова: отъ лѣваго угла сцены идетъ вверхъ и заворачиваетъ вправо ломаная линія обрыва; внизу, налѣво, беспокойное море, поднимающее свой горизонтъ высоко. Справа, по склону горы идетъ полуразрушенная каменная ограда съ осыпавшимися камнями, за нею густой запущенный садъ — среди деревьевъ два высокихъ черныхъ кипариса.

Буря еще не началась, но море и небо уже готовы принять ее. Море темно и мѣстами почти совсѣмъ лишено блеска и какъ бы погружено въ ночь, иными же мѣстами оно зыблется въ зловѣщемъ и тускломъ свѣтѣ — словно тысячи змѣй, поблескивая холодной и влажной чешуею, играютъ межъ собой и ударами хвостовъ поднимаютъ брызги, производятъ шумъ и шипятъ сдержанно. А по небу темными тяжелыми грудами сваливаются за горизонтъ лохматые, какъ бы испуганныя тучи. Гонимые верхнимъ вѣтромъ, въ быстротѣ движенія своего онѣ обгоняютъ багрово-красное солнце, плавно и тяжело соскальзывающее туда же, за линію горизонта; еле видимо оно сквозь плотную завѣсу облаковъ, и только временами пугаетъ оно землю и море короткими взглядами налившихся кровью глазъ — какъ великанъ, который наѣлся живого мяса и напился живой крови и сытый идетъ спать, но все еще оглядывается и ищетъ.

На землѣ еще тихо, но деревья уже предчувствуютъ вѣтеръ, который поднимется ночью, и вздрагиваютъ листьями, словно изнутри шепчутся тихонько; и только черные кипарисы, цѣльные во всѣхъ частяхъ своихъ — неподвижны и молчаливы и крѣпко таятъ свистъ на своихъ острыхъ вершинахъ.

При открытіи занавѣса на сценѣ пусто, затѣмъ черезъ ограду перелѣзаетъ Анатэма и помогаетъ перебраться Давиду, который еле движется отъ слабости. Ихъ черныя широкія одежды грязны и мѣстами порваны; въ пути они оба потеряли шляпы, и сѣдые волосы Давида поднимаются на головѣ его, какъ бѣлый прибой у скалы.

Анатэма.

Скорѣй, скорѣй, Давидъ. Они гонятся за нами по пятамъ. Въ этомъ черномъ саду, гдѣ такъ тихо, я слышалъ отдаленный гулъ съ этой стороны — какъ будто тамъ другое море. Скорѣе, Давидъ.

Давидъ.

Я не могу, Нуллюсь. Положите меня здѣсь, чтобы я умеръ.

Анатэма.

Ставьте ногу сюда, на этотъ камень. Осторожнѣе.

Давидъ.

Передъ моими глазами тропинки, которыя кружатся и приводятъ къ стѣнѣ. Потомъ стѣна, Нуллюсь, и этотъ темный ровъ, гдѣ лежитъ издохшая и вздутая лошадь... Куда мы пришли, Нуллюсь?

Анатэма.

Мы у моря. У рыбаковъ возьмемъ мы лодку и отдадимся волнамъ — скорѣе у безумныхъ волнъ вы найдете пощаду, Давидъ, чѣмъ у людей, которые сошли съ ума.

Давидъ.

Да. Лучше умереть. (Ложится у ограды). Мнѣ

пятьдесятъ-восемь лѣтъ, Нуллюсь, и мнѣ необходимъ отдыхъ... Но кто былъ этотъ человѣкъ, который встрѣтилъ насъ на большой дорогѣ и обрадовался такъ страшно и побѣждалъ съ крикомъ: вотъ Давидъ, радующій людей. Откуда онъ знаетъ меня? Я его не видалъ ни разу.

Анатэма

(дѣлая видъ, что осматриваетъ берегъ).

Ваша слава велика, Давидъ... Странно, я не нахожу спуска.

Давидъ (закрывая глаза).

Кипарисы почернѣли — къ ночи будетъ вѣтеръ, Нуллюсь. Намъ нужно было остаться въ каменоломнѣ: тамъ темно и тихо, и я тамъ спалъ, какъ человѣкъ съ чистой совѣстью. (Ворчливо). Ну что же ты молчишь, Нуллюсь? Или мнѣ разговаривать одному, какъ будто я уже въ пустынь?

Анатэма.

Я ищу.

Давидъ (недовольно).

Ну чего еще искать тамъ? — Уже довольно искали мы сегодня и прыгали, какъ ученые собаки. Мнѣ было стыдно, Нуллюсь, когда я перелѣзалъ ограды, какъ маленькій мальчикъ, ворующій яблоки. Идите-ка лучше сюда и расскажите что-нибудь такое о вашихъ путешествіяхъ. Я слишкомъ усталъ, чтобы спать.

Анатэма.

Спать не придется, Давидъ. (Подходя.) Здѣсь нѣтъ спуска къ морю.

Давидъ.

Ну такъ что же? Поищите въ другомъ мѣстѣ.

Анатэма

(простирая руку по направленію къ городу).

Всмотритесь, Давидъ — что это бѣлѣтъ вдали?

Давидъ (поднимая голову).

Я не вижу.

Анатэма.

Это городъ, который ждетъ тебя. А теперь прислушайся: что тамъ гудить вдали?

Давидъ (прислушиваясь).

Это — ну, конечно, Нуллюсь, это эхо морскихъ волнъ.

Анатэма.

Нѣтъ. Это люди, Давидъ, которые сейчасъ придутъ сюда и потребуютъ отъ тебя чудесъ и предложить тебѣ царство надъ бѣдными земли. Когда мы прятались за камнями, я слышалъ, какъ двое людей, поспѣшавшихъ въ городъ, говорили о томъ, что ты похищенъ кѣмъ-то злымъ и тебя нужно отнять у похитителя и дать тебѣ царство.

Давидъ.

Развѣ я не старый больной еврей, а кусокъ золота, чтобы меня похищать? Оставьте, Нуллюсь, вы бредите, какъ и тѣ... Я хочу спать.

Анатэма (нетерпѣливо).

Но они идутъ сюда.

Давидъ.

Ну и пусть идутъ. Вы имъ скажете, что Давидъ уснулъ и не желаетъ творить чудесъ.

(Укладывается удобнѣе для сна.)

Анатэма.

Опомнитесь, Давидъ!

Давидъ (упрямо).

Да, онъ не желаетъ творить чудесъ. Спокойной ночи, Нуллюсь. Я старъ и не люблю болтать о пустякахъ.

Анатэма.

Давидъ!

(Давидъ не отвѣчаетъ: засыпаетъ, подложивъ обѣ руки подъ голову.)

Анатэма.

Проснитесь, Давидъ, сюда пришли. (Злобно толкаетъ уснувшего.) Встань, тебѣ говорю! Ты притворяешься спящимъ — я не вѣрю тебѣ. Слышишь? (Сквозь зубы.) Заснулъ — проклятое мясо!

(Отходить и прислушивается.)

Анатэма.

Ха! Идутъ... Идутъ — а ихъ царь спитъ. Идутъ — а ихъ чудотворецъ поживаетъ сномъ лошади, на которой возять воду. Несутъ корону и смерть — а ихъ жертва и властелинъ ловить вѣтеръ раскрытымъ ртомъ и чмокаетъ сладко. О жалкій родъ: въ костяхъ твоихъ измѣна, въ крови твоей предательство и въ сердцѣ твоёмъ ложь. Лучше на текучую воду положиться и по волнамъ идти, какъ по

мосту; лучше на воздух опереться, какъ на камень — нежели измѣннику ввѣрить свой гордый гнѣвъ и горькія мечты. (Подходить къ Давиду и грубо расталкиваетъ его.) Встань. Встань. Давидъ: пришла Сура — Сура — Сура.

Давидъ (пробуждаясь).

Это ты, Сура? .. Я сейчасъ, я очень усталъ, Сура... Что это? Это вы, Нуллюсь? А гдѣ же Сура, она сейчасъ звала меня? Какъ я усталъ, какъ я усталъ, Нуллюсь.

Анатэма.

Сура идетъ. Сура несетъ вамъ младенца.

Давидъ.

Какого младенца? У насъ же нѣтъ маленькихъ дѣтей. Наши дѣти... (Привстаетъ и озирается испуганно.) Что такое, Нуллюсь? Кто это кричитъ тамъ?

Анатэма.

Сура несетъ мертвого ребенка. Нужно, чтобы вы воскресили мертвого ребенка, Давидъ. Онъ черненькій, его зовутъ Мойше — Мойше — Мойше.

Давидъ

(встаетъ и топчется на пространствѣ нѣсколькихъ шаговъ).

Бѣжать, Нуллюсь! Бѣжать! Гдѣ же дорога? Куда ты завелъ меня? (Хватаетъ Анатэму за руку.) Послушай, какъ кричатъ они. Это они идутъ сюда, за мной — ой, спаси меня, Нуллюсь!

Анатэма.

Дороги нѣтъ. (Удерживая Давида.) Тамъ пропасть.

Давидъ.

Что же мнѣ дѣлать, Нуллюсь? Не броситься ли внизъ и раздробить голову о камни — но развѣ я злодѣй, чтобы приходить къ Богу безъ зова? О, если бы призвалъ меня Богъ — быстрѣй стрѣлы понеслась бы къ нему моя старая душа... (Прислушивается.) Кричать. Зовутъ, зовутъ, — отойдите, Нуллюсь, я хочу молиться.

Анатэма (отходить).

Но поторопитесь, Давидъ, они близко.

Давидъ (падая на колѣни).

Ты слышишь? Они идутъ. Я люблю ихъ, но горше ненависти моя любовь и безсильна она, какъ равнодушіе... Убей меня и встрѣть ихъ самъ. Убей меня — и встрѣть ихъ милостиво, любовію твоей взыщи. Тѣломъ моимъ утучни голодную землю и возрасти на ней хлѣбъ, душою моею утоли печаль и смѣхъ возрасти. И радость — о Боже — радость для людей...

(Слышно приближеніе огромной толпы; отдѣльныхъ голосовъ еще нѣтъ — все сливается въ одинъ протяжный ищущій крикъ.)

Анатэма (подходя).

Скорѣй, скорѣй, Давидъ — они подходятъ.

Давидъ.

Сейчасъ, сейчасъ. (Въ отчаяніи.) Радость... ну и что же еще? Одно только слово, одно только слово — но я забылъ его. (Плачетъ.) О, какъ много словъ — и только одного не хватаетъ... Но, можетъ быть, тебѣ не нужно словъ?

Анатэма.

Только одного не хватаетъ? Какъ странно. А они, кажется, нашли свое слово — ты слышишь, какъ они вопять: Дави-идъ, Давидъ. Встань же, Давидъ, и встрѣть ихъ гордо: кажется, они начинаютъ смѣяться надъ тобою.

(Давидъ встаетъ. Снизу, очевидно, замѣтили его — крикъ переходитъ въ громоподобный радостный ревъ. Кто-то, опередившій другихъ, выбѣгаетъ, кричить радостно: „Давидъ“ и размахивая руками, убѣгаетъ назадъ. Кровавымъ взглядомъ охватываетъ солнце высокій бугоръ, кипарисы и сѣдую голову Давида и прячется за тучи, какъ глазъ подъ завѣсой нахмуренныхъ бровей. Въ одномъ мѣстѣ море наливается кровью: словно смертоносная битва произошла въ безмолвіи пучины.)

Давидъ (отступая на шагъ).

Мнѣ страшно, Нуллюсь. Это тотъ, что на дорогѣ, съ рыжей бородкой... я боюсь его, Нуллюсь.

Анатэма.

Встрѣть ихъ гордо. Правдою, правдою ударь ихъ, Давидъ.

Давидъ.

Только не оставляйте меня, Нуллюсь, а то я опять забуду, гдѣ правда.

(Снизу и черезъ ограду показываются люди, бѣгушіе торопливо. Они грязны, измучены, какъ Давидъ, и какъ будто слѣпы, но на лицахъ огненная радость; и вмѣсто словъ одинъ только торжествующій немного хищный вой: Да-а-ви-и-дъ, Да-а-ви-и-дъ.)

Давидъ (простирая руки).

Назадъ.

(Его не слушаютъ и лѣзутъ съ тѣмъ же протяжнымъ воплемъ; и до самыхъ дальнихъ рядовъ несется онъ, и когда

передніе уже умолкають, гдѣ-то въ глубокой дали, какъ тысячекратное эхо, замираетъ слабымъ стономъ: Да-а-ви-идъ, Да-а-ви-и-дъ.)

Анатэма (дерзко).

Куда? . Назадъ — назадъ, вамъ говорятъ!
(Передніе останавливаются въ страхъ.)

Голоса.

Стойте. Стойте. Кто это? — Это Давидъ? — Нѣтъ, это похититель! — Похититель! — Похититель!

Кто-то безпокойный.

Тише. Тише. Давидъ хочетъ говорить. Слушайте Давида.

(Умолкають; но вдали еще голосають протяжно: Да-а-ви-и-дъ, Да-а-ви-и-дъ.)

Давидъ.

Что вамъ надо? Ну да, это я, Давидъ Лейзеръ, еврей изъ города, который и вашъ городъ. Зачѣмъ вы преслѣдуете меня, какъ вора, и криками пугаете меня, какъ грабителя?

Анатэма (дерзко).

Что вамъ надо? Ступайте отсюда. Мой другъ Давидъ Лейзеръ не хочетъ васъ видѣть.

Давидъ.

Да. Оставьте меня здѣсь умирать, ибо уже къ сердцу моему подходитъ смерть; и идите домой къ женамъ вашимъ и дѣтямъ. Я ничѣмъ не могу облегчить страданія вашего, идите. Такъ ли я сказалъ, Нуллюсь?

Анатэма.

Такъ, такъ, Давидъ.

Кто-то безпокойный.

Наши жены здѣсь и дѣти наши здѣсь. Вотъ они стоятъ и ждутъ твоего ласковаго слова, Давидъ, радующій людей.

Давидъ.

Уже не осталось во мнѣ силы и мнѣ нечего сказать. Идите.

Женщина.

Пройди немного впередъ, Рувимъ, и поклонись господину нашему Давиду. Вы навѣрно помните его, Давидъ? — Поклонись же еще разъ, Рувимъ!

(Мальчикъ робко кланяется и вновь прячется въ толпу. Добродушный смѣхъ.)

Старикъ (улыбаясь).

Это онъ васъ боится, Давидъ. Не бойся, мальчикъ.

(Сдержанный смѣхъ. Выступаетъ странникъ.)

Странникъ.

Ты позвалъ насъ, Давидъ — и мы пришли. Уже давно мы ждали, безмолвные, твоего милостиваго зова, и до самыхъ дальнихъ предѣловъ земли разнесся твой кличъ, Давидъ. Почернѣли дороги отъ людей, шевельнулись глухія тропы и узкія тропинки налились шагами и скоро большими дорогами стануть онѣ — и какъ вся кровь, какая есть въ тѣлѣ, бѣжитъ къ единому сердцу, такъ къ тебѣ, единому, идутъ всѣ бѣдныя земли. Привѣтъ тебѣ, господинъ

нашъ, Давидъ, — землею и жизнію своею кланяется тебѣ народъ.

Давидъ (мучаясь).

Чего вы хотите?

Странникъ (тихо).

Справедливости.

Давидъ.

Чего вы хотите?

Всѣ.

Справедливости.

(Одно только слово — но будто громъ прогремѣлъ надъ землею, и уже затихъ, близкій и далекій, и уже не знаетъ человѣкъ: слышалъ ли онъ, сказалъ ли, подумалъ ли — или же не было ничего. Ожиданіе.)

Давидъ

(съ внезапной надеждой).

Скажите же, Нуллюсь, скажите: развѣ справедливость чудо?

Анатэма (горько).

Тамъ есть слѣпые — и они невинны. Тамъ есть мертвые — и они невинны также. Гробами своими кланяется тебѣ земля и тьмой привѣтствуетъ тебя. Сотвори же чудо.

Давидъ.

Чудо? Опять чудо?

Странникъ

(подозрительно и угрюмо).

И народъ не хочетъ, чтобы ты говорилъ съ тѣмъ,

имени котораго мы не смѣемъ назвать. Онъ врагъ людей и ночью, когда ты спалъ, онъ похитилъ тебя и унесъ на эту гору — но онъ не догадался похитить сердце у народа; и стуча непрерывно — привело насъ сердце къ тебѣ.

Анатэма (надменно).

Повидимому, я лишній здѣсь?

Давидъ.

Нѣтъ, нѣтъ. Не покидайте меня, Нуллюсь. (Мучаясь.) Прочь, прочь, отсюда. Вы искушаете Бога — я васъ не знаю. Уйдите... Уйдите.

Анатэма (коротко).

Прочь.

Голоса (испуганно).

Давидъ гнѣвается. — Что же намъ дѣлать? — Господинъ гнѣвается? — Давидъ гнѣвается.

Старикъ.

Зовите Суру.

Женщина.

Суру зовите, Суру.

Голоса.

Сура. Сура. Сура.

(Уносится въ дальніе ряды: Сура, Сура.)

Давидъ (въ ужасѣ).

Ты слышишь? Они зовутъ Суру.

Радостный голосъ.

Сура идетъ.

(Толпа становится смѣлѣе.)

Абрамъ Хессинъ

(кланяясь многократно).

Это я, Давидъ, это я. Здравствуйте, господинъ нашъ, Давидъ.

Сонка

(улыбаясь и кланяясь многократно).

Здравствуйте. Ну такъ здравствуйте же, Давидъ.

(Давидъ отворачивается и закрываетъ рукою лицо.)

Анатэма (равнодушно).

Прочъ.

(Общее смущеніе, прерванные улыбки, задержанные вздохи. Почтительно ведомая подъ руки появляется Сура, и такъ доходитъ до невидимой черты, которая отдѣляетъ Давида и за которую никто не смѣетъ переступить. И дальше нѣсколько шаговъ дѣлаетъ одна.)

Анатэма.

Обернитесь, Давидъ... Сура пришла.

Сура (кратко).

Здравствуйте, Давидъ. Простите меня, что я безпокою васъ, но люди просили меня переговорить съ вами и узнать, когда вы пожелаете вернуться домой, въ вашъ дворецъ. И еще они просили, чтобы вы поторопились, Давидъ, ибо уже многіе умерли отъ невыносимыхъ страданій; — и уже мертвецы стали ждать. И многіе уже сошли съ ума отъ невыноси-

мыхъ страданій и скоро начнутъ убивать; и если вы не поспѣшите, Давидъ, то всѣ въ народѣ станутъ врагами другъ другу — и вамъ трудно будетъ построить царство на мертвой землѣ.

(Горькіе вопли въ дальнихъ рядахъ: Да-а-в-и-дъ, Да-а-ви-и-дъ.)

Давидъ (сдержанно).
Прочь, Сура!

Сура (кратко).

У васъ разорвано платье, Давидъ, и я боюсь, что на вашемъ тѣлѣ есть раны. Что съ тобою? Отчего ты не радуешься съ нами?

Давидъ (плача).

О, Сура, Сура. Что ты дѣлаешь со мною? Подумай, Сура — подумайте вы всѣ — развѣ не отдалъ я вамъ все — и ничего нѣтъ у меня. Пожалѣйте же меня, какъ я васъ жалѣлъ, и камнями побейте мое ненужное тѣло. Я васъ люблю — и слова гнѣва безсильны въ моихъ устахъ, и не пугаетъ васъ страхъ изъ устъ любящаго — такъ пожалѣйте же меня. У меня нѣтъ ничего. Мало крови въ моихъ жилахъ, но развѣ не отдалъ бы я ее всю до послѣдней свернувшейся капли — если бы могъ утолить вашу горькую жажду. Какъ губку сжалъ бы я сердце мое между жерновами ладоней моихъ — и единой капли не посмѣло бы утаить лукавое сердце, жадное до жизни.

(Съ силою разрываетъ одежду и ногтями царапаетъ обнаженную грудь.)

— Но вотъ идетъ кровь — идетъ кровь — улыбнулся ли хоть одинъ изъ васъ улыбкой радости? Но вотъ я рву волосы изъ бороды моей и сѣдые клочья

бросаю — къ вашимъ ногамъ — поднялся ли хоть одинъ мертвецъ? Вотъ я плюну въ ваши глаза — прозрѣетъ ли хоть одинъ слѣпой? Вотъ я камни... я камни стану грызть, какъ бѣшенный звѣрь — насытится ли хоть одинъ голодный? Вотъ я всего себя брошу вамъ...

(Быстро дѣлаетъ нѣсколько шаговъ — и толпа въ страхѣ отступаетъ. Крики испуга.)

Анатэма.

Такъ, такъ, Давидъ. Бей ихъ.

Сура (отступая.)

Ой, не наказывайте насъ, Давидъ.

Странникъ (къ толпѣ).

Онъ слушаетъ похитителя. Онъ говоритъ: я ничего не хочу дать народу. Онъ плюетъ и говоритъ, что это въ глаза народу...

(Крики испуга и зарождающейся злобы. Но въ дальнихъ рядахъ все еще молитвенные вопли: Да-а-ви-и-дъ. Да-а-ви-и-дъ.)

Кто-то.

Онъ не смѣетъ плевать въ народъ. Мы ничего не сдѣлали ему.

Другой.

Я видѣлъ, я видѣлъ: онъ поднималъ камни. Спасайтесь.

Анатэма.

Берегитесь, Давидъ: они сейчасъ возьмутся за камни. Это звѣри.

Странникъ (къ Давиду.)

Ты обмануль насъ, еврей.

Сура (заступаясь).

Не смѣйте такъ говорить.

Хессинъ

(хватая странника за грудь).

Еще слово, и я заткну тебѣ ротъ.

Давидъ (кричитъ).

Я не обманывалъ никого. Я отдалъ все, и у меня нѣтъ ничего.

Анатѣма.

Вы слышите, глупцы. У Давида нѣтъ ничего. (Смѣется.) Нѣтъ ничего. Такъ ли я говорю, Давидъ?

Странникъ.

Вы слышите? — у него нѣтъ ничего. Зачѣмъ же онъ призывалъ насъ? Онъ обмануль. Онъ обмануль.

Хессинъ (въ недоумѣніи).

Но это правда, Сура: онъ самъ говоритъ — нѣтъ ничего.

Сура.

Не слушайте Давида. Онъ боленъ. Онъ усталъ. Онъ дастъ намъ все.

Странникъ (съ тоскою и гнѣвомъ).

Какъ же ты могъ, Давидъ? Что ты сдѣлалъ съ народомъ, проклятый?

Кто-то безпокойный.

Ну, такъ послушайте, что сдѣлалъ со мной Давидъ, радующій людей. Онъ обѣщалъ мнѣ десять рублей, а потомъ отнялъ, и далъ одну копейку; и я думалъ, что эта копейка не настоящая, и приходилъ съ нею въ магазинъ и требовалъ много — а они смѣялись и гнали меня, какъ вора. Это ты — воръ. Ты — грабитель, оставившій моихъ дѣтей безъ молока. На твою копейку.

(Бросаетъ копейку къ ногамъ Давида. Многіе слѣдуютъ его примѣру, — ибо у всѣхъ только по одной копейкѣ.)

Сура (защищая Давида).

Вы не смѣете обижать Давида.

(Давидъ молча плачетъ, закрывъ лицо руками.)

Кто-то яростный.

Предатель. Онъ мертвыхъ поднималъ изъ гробовъ, чтобы посмѣяться и надъ ними. Бейте его камнями.

(Нагибается за камнемъ. Въ этотъ моментъ поднимается сильный вѣтеръ и въ отдаленіи грохочетъ громъ. Въ толпѣ страхъ.)

Давидъ

(поднимая голову и раскрывая грудь).

Побейте меня камнями — я предатель!

(Громъ сильнѣе. Анатэма весело хохочетъ.)

Странникъ.

Предатель! Бейте его камнями — онъ обманулъ. Онъ предалъ, онъ солгалъ!

(Смятеніе. Наступаютъ на Давида, хватаются за камни; нѣкоторые съ воплемъ убѣгаютъ.)

Давидъ.

Возьмите меня. Я иду къ вамъ.

Анатэма.

Куда? Они тебя убьютъ.

Давидъ.

Ты врагъ. Пусти! (Вырывается.)

Странникъ

(поднимая надъ головою камень).

Назадъ, Сатана!

Анатэма (торопливо).

Прокляни ихъ, Давидъ. Они сейчасъ убьютъ тебя... Скорѣй.

(Давидъ поднимаетъ обѣ руки — и падаетъ пораженный камнемъ. Почти безъ словъ, нѣмые отъ ярости, глухо ворчащiе, словно грызущiе землю — обрушиваютъ люди все новые и новые камни на неподвижное тѣло. Не слышатъ грома. Не слышатъ визгливаго смѣха Анатэмы. Вдругъ кто-то громко плачетъ: а-а-а. Женщина. За ней другая. Крики, ревъ. Убѣгаютъ, согнувшись. Кто-то послѣднiй поднимаетъ камень, чтобы бросить въ голову Давида — оглядывается — одинъ! — выпускаетъ камень изъ рукъ и съ дикимъ крикомъ, схватившись за голову, убѣгаетъ. Далекiе крики. Что-то страшное творится въ невидимой толпѣ.)

Анатэма

(мечется, вскакиваетъ на камень, срывается, опять вскакиваетъ, смотреть.)

А-ахъ, ты побѣдилъ, Давидъ (Хохочетъ.) Смотри. Смотри, какъ бѣжитъ проклятое тобой стадо. Ха-а! Они падаютъ со скалъ. Ха-а! Они бросаются въ море.

Ха! Они топчуть дѣтей! Смотри, Давидъ, они топчуть дѣтей! Это сдѣлалъ ты, Великій, могущественный Давидъ Лейзеръ. Любимый сынъ Бога — это сдѣлалъ ты! Ха-ха-ха!

(Кружится, обуреваемый хохотомъ.)

— Ахъ, куда же мнѣ дѣваться съ радостью моею. Ахъ, куда же мнѣ пойти съ вѣстью моею — для нея мало мѣста на землѣ. Востокъ и Западъ, Сѣверъ и Югъ, смотрите и слушайте — Давидъ, радующій людей — убить людьми и Богомъ. И на смрадный трупъ его ногою стану я — Анатэма. (Къ небу.) Ты слышишь? Возрази, если можешь.

(Попираетъ ногою тѣло Давида. И вотъ слышится стонъ изъ-подъ ноги, и вотъ дрожа и колеблясь странно, поднимается сѣдая окровавленная голова).

Анатэма (отступая).

Ты еще живъ? Солгалъ и здѣсь?

Давидъ (ползетъ).

Я къ вамъ. Подожди же меня, Сура. Я сейчасъ.

Анатэма

(нагибаясь, съ любопытствомъ разсматриваетъ).

Ползешь?.. Какъ и я? — Собакою? — За ними?

Давидъ (въ смертномъ томленіи).

Ой, я не дойду, понесите же меня, Нуллюсь. Развѣ я говорю, что меня не надо побить камнями — ахъ, ну и пусть меня побьютъ камнями. Понесите же меня Нуллюсь. Я тихо лягу на порогъ, я только взгляну въ щелочку, какъ кушаютъ... маленькія

дѣти... Ой, борода. Ой, страшная борода... Ой, не бойся мой маленькій — ты одинъ умный, ты одинъ смѣешься. Дѣточки мои, мои маленькія дѣточки.

Анатэма (топая ногой).

Ты ошибаешься, Давидъ. Ты мертвъ. И мертвы дѣти. Земля мертва — мертва — мертва. Взгляни.

(Съ усиліемъ Давидъ встаетъ и смотритъ, простирая уже слабыя, полумертвыя руки.)

Давидъ.

Я вижу, Нуллюсь. Мой старый другъ... мой старый другъ, побудьте здѣсь, я прошу васъ, а я пойду къ нимъ. Знаете ли, Нуллюсь... (Путается.) Кажется, я нашелъ одну копейку... (Смѣется тихо.) Я же говорилъ тебѣ, Нуллюсь, взгляни на эту бумагу... Абрамъ Хессинъ мой другъ... (Убѣдительно.) Абрамъ Хессинъ мой другъ.

(Падаетъ и умираетъ.)

(Въ отдаленіи, замирая, сдержанно грохочетъ громъ, словно по огромнымъ каменнымъ ступенямъ нисходитъ кто-то, одѣтый въ тяжкія желѣза. Уже темно отъ черныхъ клубящихся тучъ, но затихаетъ порывистый вѣтеръ; до самой воды спустилось красное солнце и, въ порывѣ облаковъ, показало свой округленный верхъ, свою, какъ бы стынущую, огромную близкую массу. И скрылось.)

Анатэма (наклонившись).

Теперь правда? Умеръ? Или опять лжешь? Нѣтъ — честная смерть. Дай кулакъ. Разожми. Не хочешь? Но вѣдь я сильнѣе. (Встаетъ и разсматриваетъ что-то въ рукѣ). Копейка.

(Бросаетъ презрительно. Ворошить ногою трупъ Давида.)

— Прощай, глупецъ. Завтра твой трупъ найдутъ здѣсь люди и схоронятъ пышно по обычаю людей. Добрые убійцы, они любятъ тѣхъ, кого убиваютъ. И изъ тѣхъ камней, которыми тебя побили за любовь, они построятъ высокій — кривой — и глупый памятникъ.

(Смѣется. Сразу обрываетъ смѣхъ и становится въ надменно-актерскую позу.)

— Кто выветъ побѣду изъ рукъ Анатэмы? Сильныхъ я убиваю, слабыхъ я заставляю кружиться въ пьяномъ танцѣ — въ безумномъ танцѣ — въ діавольскомъ танцѣ.

(Ударяетъ ногою по землѣ.)

Смирись, земля, и дары принеси мнѣ покорно: убивай — жги — предательствуй, человѣкъ, во имя господина твоего. По морю крови, пахнувшей такъ сладко, на красныхъ парусахъ, сверкающихъ такъ жарко, направляю я мою ладью... (Къ небу быстро...) къ тебѣ за отвѣтомъ. Не собакою, ползающей на брюхѣ, — знатнымъ гостемъ, владѣтельнымъ княземъ земли причаляю я къ твоимъ нѣмымъ берегамъ.

(Величественно.)

— Приготовься. Я — точнаго потребую отвѣта. Ха-ха-ха!

(Со смѣхомъ скрывается во тьмѣ.)

З а н а в ѣ с ѣ .

Седьмая картина.

Седьмая картина

Ничего не произошло. Ничто не измѣнилось.

Все такъ же тяжело подавляютъ землю желѣзные, изъ вѣка закрытыя врата, за которыми въ безмолвіи и тайнѣ обитаетъ Начало всякаго бытія, Великій Разумъ вселенной. И все такъ же безмолвенъ и грозно неподвиженъ Нѣкто, ограждающій входы — ничего не произошло, ничто не измѣнилось.

Ужасенъ сѣрый свѣтъ, нѣмой, какъ сѣрые камни, ужасно мѣсто — но Анатѣма любить его. И вотъ снова показывается онъ; но не ползетъ онъ на брюхѣ собакою, не прячется за камни, какъ воръ — какъ побѣдитель, надменной поступью, медлительной важностью движеній онъ старается закрѣпить свою побѣду. Но такъ какъ никогда не можетъ быть правдивымъ Діаволь, и нѣтъ предѣла сомнѣніямъ его, то и сюда онъ вноситъ вѣчную раздвоенность свою: идетъ, какъ побѣдитель, а самъ боится, закидываетъ голову кверху, какъ властелинъ, а самъ смѣется надъ преувеличенною важностью своей; мрачный и злой шутъ — онъ тоскуетъ о величій и, принужденный къ смѣху, ненавидитъ смѣхъ.

Такъ, важничая чрезмѣрно, доходитъ онъ до середины горы и ждетъ въ горделивой позѣ. Но какъ огонь сухое дерево, — пожираетъ безмолвіе его неувѣренную важность — и уже торопится онъ, даже не выдержавъ паузы, какъ плохой музыкантъ, скрыть себя и свои сомнѣнія и свой ненавистный страхъ въ густой чащѣ шутокъ, крика громкаго и торопливыхъ жестовъ. Топаютъ ногой и кричатъ притворно грознымъ голосомъ.

Анатэма.

Почему нѣтъ трубъ и торжества? Почему закрыты эти старыя и ржавыя ворота? и никто не подаетъ мнѣ ключей? Развѣ въ порядочномъ кругу такъ принято встрѣчать именитаго гостя, владѣтельнаго князя дружественной намъ земли? Одинъ швейцаръ, видимо, заснувшій и больше никого. Плохо. Плохо.

(Хохочетъ. И, потягиваясь истомно, присаживается на камень. Говорить кротно и манерно — устало.)

— Но я не тщеславенъ. Трубы, цвѣты и крики — все это пустяки! Я самъ слышалъ, какъ однажды трубили славу Давиду Лейзеру — а что изъ этого вышло? (Вздыхаетъ.) Грустно подумать. (Насвистываетъ грустно.) Ты слыхалъ, конечно: какая непріятность постигла моего друга, Давида Лейзера? Помнится, когда послѣдній разъ болтали мы съ тобою — ты еще не зналъ этого имени... Но теперь ты знаешь его? Гордое имя! Когда я уходилъ съ земли, вся земля миллиономъ голодныхъ глотокъ выкликала это славное имя: Давидъ-обманщикъ! Давидъ-предатель! Давидъ-лжецъ! При этомъ, какъ мнѣ показалось, нѣкоторые весьма несдержанно упрекали и еще кого-то. Вѣдь не отъ своего имени дѣйствовалъ такъ неосторожно мой честный, безвременно погибшій другъ.

(Нѣкто молчитъ. И, дыша злобою, съ торжествомъ уже не притворнымъ, Анатэма кричитъ:)

— Имя! Имя того, кто погубилъ Давида и тысячи людей. Я Анатэма, у меня нѣтъ сердца, на адскомъ огнѣ высохли мои глаза и нѣтъ въ нихъ слезъ, но если бѣ были онѣ — я всѣ ихъ отдалъ бы Давиду. У меня нѣтъ сердца — но было мгновеніе, когда что-то живое шевельнулось въ моей груди, и я испугался: развѣ можетъ родиться сердце? Я видѣлъ, какъ погибалъ Давидъ и съ нимъ тысячи людей, я видѣлъ, какъ въ пучину небытія, въ мое жилище мрака и смерти низвергался его духъ, черный, свернувшійся жалко, какъ дохлый червякъ на солнцѣ... Скажи, не ты ли погубилъ Давида?

Нѣкто, ограждающій входы.

Давидъ достигъ безсмертія, и живетъ безсмертно въ безсмертіи огня. Давидъ достигъ безсмертія и живетъ безсмертно въ безсмертіи свѣта, который есть жизнь.

(Пораженный Анатэма падаетъ на землю и мгновеніе лежитъ неподвижно. Затѣмъ поднимаетъ голову, яростную, какъ у змѣи. Затѣмъ встаетъ и говоритъ съ спокойствіемъ безграничнаго гнѣва.)

Анатэма.

Ты лжешь. Прости меня за дерзость, но ты — лжешь. Конечно, власть твоя безмѣрна — и дохлому червяку, почернѣвшему на солнцѣ, ты можешь дать безсмертіе. Но справедливо ли это будетъ? Или лгутъ числа, которымъ подчиняешься и ты? Или всѣ вѣсы показываютъ ложно, и весь твой міръ одна сплошная ложь? — жестокая и дикая игра въ законы, злой смѣхъ деспота надъ безгласіемъ и покорностью раба?

(Говоритъ мрачно, въ тоскѣ безсмертной слѣпоты).

Анатэма.

Я усталъ искать. Я усталъ жить и мучиться безплодно, въ погонѣ за ускользящимъ вѣчно. Дай мнѣ смерть — но не терзай невѣдѣніемъ меня, отвѣть мнѣ честно, какъ честенъ я въ моемъ возстаніи раба. Не любилъ ли Давидъ? — Отвѣть. Не отдалъ ли душу Давидъ? — Отвѣть. И не камнями ль побили Давида, отдавашаго душу? — Отвѣть.

Нѣкто.

Да. Камнями побили Давида, отдавашаго душу.

Анатэма (мрачно усмѣхаясь).

Пока ты честенъ и отвѣчаешь скромно. Не утоливъ голода голодныхъ, — не давъ зрѣнія слѣпымъ — не вернувъ жизни безвинно умершимъ — произведя раздоры и споръ, и кровопролитіе жестокое, ибо уже поднялись люди другъ на друга и во имя Давида производятъ насилія, убійства и грабежъ — не проявилъ ли Давидъ безсилія любви, и не сотворилъ ли онъ великаго зла, которое числомъ можно исчислить и мѣрою измѣрить?

Нѣкто.

Да, Давидъ сдѣлалъ то, о чемъ ты говоришь; и сдѣлали люди то, въ чемъ ты упрекаешь людей. И не лгутъ числа, и вѣрны вѣсы, и всякая мѣра есть то, что она есть.

Анатэма (торжествующе).

Ты говоришь!

Нѣкто.

Но не мѣрою измѣряется и не числомъ вычи-

Леонидъ Андреевъ. XI.

сляется, и не вѣсами взвѣшивается то, чего ты не знаешь, Анатэма. У свѣта нѣтъ границъ, и не положено предѣла раскаленности огня: есть огонь красный, есть огонь желтый, есть огонь бѣлый, на которомъ солнце сгораетъ, какъ желтая солома, — и есть еще иной, невѣдомый огонь, имени котораго никто не знаетъ — ибо не положено предѣла раскаленности огня. Погибшій въ числахъ, мертвый въ мѣрѣ и вѣсахъ, Давидъ достигъ безсмертія въ безсмертіи огня.

Анатэма.

Ты снова лжешь!

(Въ отчаяніи мечется по землѣ.)

Анатэма.

О, кто же поможетъ честному Анатэмѣ? Его обманываютъ вѣчно. О! кто поможетъ несчастному Анатэмѣ, его безсмертіе — обманъ. Ахъ плачьте возлюбившіе Діавола, стенайте и горюйте, стремящіеся къ истинѣ, почитающіе умъ, — его обманываютъ вѣчно. Я выигралъ — онъ отнимаетъ, я побѣдилъ — онъ побѣдителя заковыываетъ въ цѣпи, властителю выкалываетъ очи, надменному — даетъ собачьи ухватки, виляющій и вздрагивающій хвостъ. Давидъ, Давидъ, я былъ тебѣ другомъ, скажи ему — онъ лжетъ.

(Кладетъ голову на протянутыя руки, какъ собака, и стенаетъ горько).

— Гдѣ истина? — Гдѣ истина? — Гдѣ истина? Не камнемъ ли она побита — не во рву ли съ падающею лежитъ она... ахъ, свѣтъ погасъ надъ міромъ, ахъ, нѣтъ очей у міра — ихъ поклевало воронье... Гдѣ истина? — Гдѣ истина? — Гдѣ истина?

(Жалобно.)

— Скажи, узнаетъ ли Анатэма истину.

Нѣкто.

Нѣтъ.

Анатэма.

Скажи, увидить ли Анатэма врата открытыми?
Увижу ли лицо твое?

Нѣкто.

Нѣтъ. Никогда. Мое лицо открыто — но ты его не видишь. Моя рѣчь громка — но ты ее не слышишь. Мои велѣнія ясны — но ты ихъ не знаешь, Анатэма. И не увидишь никогда — и не услышишь никогда — и не узнаешь никогда, Анатэма — несчастный духъ, безсмертный въ числахъ, вѣчно живой въ мѣрѣ и вѣсахъ, но еще не родившійся для жизни.

(Анатэма вскакиваетъ.)

Анатэма.

Ты лжешь — молчаливый песъ, грабитель, укравшій истину у міра, желѣзомъ заградившій входы. Прощай — я честную люблю игру, и проиграюшь верну. А не отдашь — на всю вселенную я закричу: ограбили — спасите.

(Хочетъ. Насвистывая отходить на нѣскольکو шаговъ — оборачивается. Беззаботно.)

Анатэма.

Мнѣ нечего дѣлать, и я гуляю по міру. Ты знаешь ли, куда направляюсь я сейчасъ? Я пойду на могилу Давида Лейзера. Какъ тоскующая вдова, какъ сынъ отца, убитого изъ-за угла предательскимъ ударомъ — я сяду на могилѣ Давида Лейзера и буду плакать такъ горько, и буду кричать такъ громко, и буду

звать такъ страшно, что не останется въ мірѣ честной души, которая не прокляла бы убійцу. Потерявшій разсудокъ отъ горя, я буду показывать направо и налѣво: не этотъ ли убилъ? не этотъ ли помогъ кровавому злодѣйству? не этотъ ли предалъ? Я буду плакать такъ горько, я буду обвинять такъ грозно, что всѣ на землѣ стануть убійцами и палачами — во имя Лейзера, во имя Давида Лейзера, во имя Давида, радующаго людей! И когда съ горы труповъ, скверныхъ, вонючихъ, грязныхъ труповъ я возвѣщу народу, что это ты убилъ Давида и людей — мнѣ повѣрятъ.

(Хохочеть.)

— Вѣдь у тебя такая скверная репутація: лжеца — обманщика — убійцы. Прощай.

(Уходитъ со смѣхомъ. Еще разъ изъ глубины доносится его хохоть. И безмолвіе оковываетъ все.)

З а н а в ѣ с ѣ.

Анфиса.

Дѣйствующія лица:

Федоръ Ивановичъ Костомаровъ — присяжный повѣренный.

Александра Павловна — его жена.

Анфиса } сестры Александры Павловны.
Ниночка }

Павель Павловичъ Аносовъ } родители Алекс. Павл.
Александра Ивановна Аносова }

Бабушка.

Иванъ Петровичъ Татариновъ } присяжные повѣренные.
Андрей Ивановичъ Розенталь }

Гимназистъ Петя.

Померанцевъ — товарищъ Пети.

Первое дѣйствіе.

Первое дѣйствіе.

Въ домѣ присяжнаго повѣреннаго Федора Ивановича Костомарова. Вечеръ подѣ Новый годѣ. Гости.

На сценѣ небольшая комната бабушки, отдѣленная отъ тѣхъ комнатъ, гдѣ гости, коридорчикомъ и дверью. Передъ дверью три ступеньки — домъ очень старъ, выдержалъ много перемѣнъ, и комната бабушки находится въ пристройкѣ. Сквозь неплотную, быть можетъ, кѣмъ-нибудь не запертую дверь приносится шумъ празднества, играетъ на піанино таперъ, танцуютъ, что-то все кричатъ — а у бабушки тишина, покой безстрастной старости, слабый свѣтъ цвѣтныхъ лампадокъ и небольшой лампы на столѣ. Постель старухи и кіотъ загорожены довольно высокими ширмами; за небольшимъ окномъ царить январская, лунная, беззвучно-звонкая ночь.

Сама бабушка — древняя старуха невѣдомыхъ лѣтъ и всѣми позабытой невѣдомой жизни — сидитъ, углубившись въ кресло, и быстрымъ привычнымъ движеніемъ вяжетъ чулокъ. Одна за другою, повторяясь безконечно, нанизываются сѣрыя петли; догоняютъ одна другую и не могутъ нагнать, торопятся по кругу. И поблескиванію спиць отвѣчаютъ слѣпыя миганія небольшого, торопливаго маятника, едва успѣвающаго хватать летающія секунды, озабоченнаго до ужаса.

Противъ старухи, опершись головой на руки, сидитъ Ниночка, семнадцатилѣтняя гимназистка, и внимательно смотритъ на безшумное и безконечное нарастаніе петель. У нея пышные молодые волосы, и щеки ея нѣжно розовѣютъ; и сидитъ она тихо, словно очарованная.

Ниночка

(не шевелясь, медленно и глубоко).

Бабушка! Скажи ты мнѣ...

(Не договариваетъ и смотреть, словно считаетъ петли. И
опять:)

— Бабушка, скажи ты мнѣ...

Бабушка (ворчливо и ласково).

Скажи, скажи! Все тебѣ скажи. Нечего говорить, все сказано. Скажи...

Ниночка.

Бабушка, скажи ты мнѣ... Ты много жила на свѣтѣ, и ты все знаешь, и ты все можешь рассказать, если захочешь. Скажи ты мнѣ, бабушка, какъ это происходитъ — Новый годъ? Я не понимаю. Мнѣ все кажется, что, какъ только пробьютъ часы двѣнадцать, сейчасъ же, въ ту же самую минуту раскроются огромныя ворота и въ нихъ увидишь... что? Бабушка, что?

(Бабушка молчитъ.)

Ниночка.

Не хочешь говорить. Жалко! А я увѣрена, что ты видишь и могла бы сказать, если бы захотѣла. Но ты никого не любишь и оттого молчишь. Дядя Федя говоритъ, что тебѣ сто лѣтъ, бабушка, — правда

это, скажи? И будто позади тебя лежитъ такой длинный, длинный путь, что ты умѣешь немножко видѣть и впереди. Правда это, скажи?

Бабушка (посмѣиваясь).

Умѣю. Умѣю.

Ниночка.

И еще онъ говоритъ, что ты вовсе не глухая, что ты все прекрасно слышишь, а только притворяешься. Онъ говоритъ, что ты хитрая, лукавая, злая раба, которая знаетъ много чьихъ-то преступлений и оттого боится говорить и не хочетъ слышать. Скажи, это правда? Ты слышишь или нѣтъ?

Бабушка.

Тебя слышу.

Ниночка.

А дядю Федю?

Бабушка.

А его нѣтъ. Дядя Федя, дядя Федя...

Ниночка (смѣется).

Ну, и хитрая же ты!

(Бабушка утвердительно киваетъ головой и вяжетъ.)

Ниночка.

Бабушка, скажи: а отчего умеръ твой мужъ? Я видѣла его карточку въ альбомѣ, онъ ужасно похожъ на дядю Федю, и такой же красивый. Вотъ странно: ты совсѣмъ старая, а онъ вѣдь молодой. Уже не старятся тѣ, кто умираетъ. Какъ просто и странно! Скажи, отчего онъ умеръ?

Бабушка.

Не слышу.

(Молчаніе. Ниночка, прищурившись, разглядываетъ старуху и недовѣрчиво покачиваетъ головой.)

Бабушка.

Музыка играетъ?

Ниночка.

Играетъ.

Бабушка.

Танцуютъ?

Ниночка.

Танцуютъ. — Мнѣ вдругъ стало тамъ такъ скучно! Петя Тройновъ пьянъ и все лѣзетъ ко мнѣ съ объясненіями; глупый мальчишка, который воображаетъ, что онъ влюбленъ, и что будетъ очень страшно, если онъ напьется. Скажи, бабушка, что такое любовь? Не хочешь, такъ я тебѣ скажу: это ужасное, мучительное чувство. Когда человѣкъ любитъ, онъ сразу становится такой же безумно старый, какъ и ты, и начинаетъ помнить то, что было десять тысячъ лѣтъ тому назадъ. Ты думаешь, мнѣ семнадцать лѣтъ? Это тебѣ семнадцать, а мнѣ десять тысячъ лѣтъ. Къ сожалѣнію, я не могу сказать тебѣ всего, а то у тебя волосы поднялись бы дыбомъ... Ахъ, что мнѣ дѣлать, что мнѣ дѣлать!

Бабушка.

Дѣлать, дѣлать... Нечего дѣлать, все сдѣлано.

Ниночка.

Ты знаешь, дядя Федя все время съ Анфисой.

Бабушка.

Такъ, такъ!

Ниночка.

Ну, да. И онъ ужасно неправъ: Анфиса неискренняя женщина. И у нея тоже есть ваша милая привычка: помалчивать и тихонько улыбаться. И ты замѣтила, какъ она ходитъ? Посмотри, бабушка, какъ хожу я. Посмотри! (Нѣсколько разъ проходить по комнатѣ, звонко постукивая каблуками.) Слышала? А она? (Неслышною тѣнью, еле ступая, быстро скользить по комнатѣ.)

— Многозначительно. Не нравится это мнѣ, старая, не нравится. И потомъ: почему онъ ей постоянно цѣлуетъ руки и такъ почтительно, какъ будто къ иконѣ прикладывается? А она, видите ли, цѣлуетъ его въ лобъ. — Тоже... штука!

Бабушка.

Ничего ты не понимаешь.

Ниночка.

Ахъ, оставь, бабушка! Такъ понимаю, что и тебя еще кое-чему научить могу. Ты думаешь, я не знаю, зачѣмъ выписала ее эта несчастная Саша? Да вѣдь это весь домъ знаетъ, вороны на деревьяхъ и тѣ знаютъ. Сама не умѣетъ сдѣлать такъ, чтобы мужъ ее любилъ и не измѣнялъ бы ей, такъ вотъ пусть сестра Анфиса его научить. Господи, ну и кому жъ, какъ не ей научить? Умна, рѣшительна, — мужъ ей слово сказалъ, она съ нимъ въ пять минутъ развелась — ходитъ въ черномъ платьѣ — и не завивается! Настоящая для Феде гувернантка. Ну, она его научить — ты увидишь!

Бабушка.

Сама не понимаешь, что городишь.

Ниночка (строго).

Только не подумай, пожалуйста, что я изъ ревности говорю. Что я такое? Дѣвочка, дѣвчонка, которую еще можно на колѣни сажать. А эти? Ну, и несчастный же дядя Федя человѣкъ: одна облѣпила его, какъ тѣсто, а другая паутиной ложится на него.

(Открывается дверь изъ тѣхъ комнатъ.)

Ниночка (быстро).

Саша несчастная идетъ. Но только ты такъ, бабушка, какъ будто ничего не слышала, а то и ходить къ тебѣ не стану. Умрешь тутъ одна, какъ крыса въ банкѣ. Ну, не сердись! (Цѣлуетъ старуху.) Старушечка, другъ мой единственный!

(Входитъ Александра Павловна, жена Костомарова, и его другъ, адвокатъ Татариновъ, высокій, худощавый, очень черноволосый человѣкъ. Идетъ онъ немного позади, уступая дорогу Александрѣ Павловнѣ, женщинѣ крупной и чрезвычайно, даже до ослѣпительности, красивой.)

Татариновъ.

Вотъ я когда-нибудь окончательно сломаю себѣ шею на этихъ ступенькахъ.

Александра Павловна.

Ты что это запряталась сюда, Ниночка? А тамъ тебя ищутъ.

Ниночка.

Кто?

Александра Павловна.

Кто же можетъ искать? Молодые люди ищутъ.

Татариновъ

(цѣлуеъ руку у бабушки).

Здравствуйте, Нила Евграфовна.

Александра Павловна.

Господи, да откуда же вы знаете, какъ ее зовутъ? Ужъ и мы-то ея имя позабыли.

Татариновъ.

Каждого человѣка нужно звать по имени-отчеству. Знаете вы, какъ вашего кучера зовутъ?

Александра Павловна.

Ну, Еремѣй.

Татариновъ.

Нѣтъ, не Еремѣй, а Еремѣй Петровичъ. А какъ горничную зовутъ? По-вашему Катя, а по настоящему Катерина Ивановна, и фамилія ея Перепелкина.

Александра Павловна.

Устала я. Поди, Ниночка, потанцуй, голубчикъ. Мнѣ съ Иваномъ Петровичемъ поговорить нужно. Да если Федя меня искать будетъ, скажи ему, что я пошла немного отдохнуть.

Ниночка.

Что жъ, отдохни.

(Уходитъ, хмуро оглядываясь.)

Александра Павловна.

Садитесь, Иванъ Петровичъ. — Скажите, кто по вашему мнѣнію самая красивая женщина сегодня?

Татариновъ (твердо).

Анфиса Павловна.

Александра Павловна

(нѣсколько непріятно удивленная, но улыбаясь).

А не я? Федя говоритъ, что я самая красивая женщина.

Татариновъ.

Съ одной стороны. А съ другой стороны — у васъ, Александра Павловна, нѣтъ характера въ лицѣ.

Александра Павловна.

Какой вы честный. А у нея есть?

Татариновъ (твердо).

А у нея есть.

Александра Павловна.

Впрочемъ, я рада, что вы такъ говорите про ея характеръ. Вѣдь вы знаете, зачѣмъ я попросила сестру пріѣхать?

Татариновъ.

Знаю.

Александра Павловна.

Ну, какъ, измѣнился Федя? Вѣдь вы его видите постоянно. Если ужъ она не можетъ на него повліять, такъ ужъ и не знаю, кто. Я разъ слушала въ щелочку...

Татариновъ (негодующе).

Въ щелочку!...

Александра Павловна.

Ну, да, въ щелочку, какъ она съ нимъ говорила. Такъ мнѣ даже жалко стало Федю. Стоитъ онъ, бѣдный мой мальчикъ, какъ виноватый, а она ему говоритъ такъ рѣзко, рѣшительно, сурово, точно и не женщина совсѣмъ, а какой-то судья. (Хватаетъ Татаринова за руки.) Иванъ Петровичъ, голубчикъ, ну вы другъ Феде, ну, скажите же мнѣ, что сдѣлать, чтобы этого не было, не было, никогда не было. (Плачетъ.)

Татариновъ (смущенно).

Чего? Я не понимаю.

Александра Павловна.

Не понимаете? А скажите — вотъ вы всѣхъ знаете, — какъ зовутъ по имени и отчеству ту особу, у которой вы бываете съ Федей?

Татариновъ.

Не знаю.

Александра Павловна.

Лжете, стыдно! Роза Леопольдовна Беренсъ, вотъ какъ ее зовутъ. Какъ же вамъ не стыдно: Федя ѣдетъ къ любовницѣ, а вы съ нимъ — что же это такое?

Татариновъ (оглядываясь).

Бабушка...

Александра Павловна.

Ахъ, оставьте, она ничего не слышитъ.

Татариновъ.

Но если такъ, то вотъ, что я вамъ скажу. Мнѣ нисколько не стыдно, и даже я испытываю противоположныя чувства, потому что я ѣзжу за Федоромъ Ивановичемъ, какъ его вѣрный другъ, который поклялся передъ его талантомъ никогда его не оставлять.

Александра Павловна (насмѣшливо).

Это къ любовницѣ-то?

Татариновъ (возмущенно).

Да развѣ я для одобренія ѣзжу? Вѣдь я надъ нимъ, какъ... факельщикъ сижу. Вѣдь онъ, осель, сколько разъ выгнать меня хотѣлъ. А я развѣ ушелъ? Нѣтъ, не ушелъ, и не уйду никогда. И буду сидѣть передъ нимъ, какъ воплощенный укоръ его потерянной совѣсти. Что я ему тамъ говорю? Я ему говорю: Федя, не забудь, что у тебя прекрасная жена и двое маленькихъ дѣтей. Федя, не забудь, что у тебя талантъ, дл правильнаго развитія котораго необходима честная семейная жизнь... Федя .

Александра Павловна.

Простите, голубчикъ, я просто такъ. Я знаю, что вы его единственный другъ.

Татариновъ.

Я ничего не пью, я вегетеріанецъ, я ненавижу рестораны, я видѣть не могу это хамье во фракахъ... Какъ васъ зовутъ? Михаилъ-съ. А по отчеству. Помилуйте-съ, какое у насъ отчество, мы такъ. Хороши, а? Ну, а кто же сидитъ съ вашимъ Федей по цѣлымъ ночамъ въ кабацѣ, какъ не я? Вѣдь онъ

меня до чахотки доведетъ. А тутъ еще эта... развратнѣйшая личность, сплетникъ и клеветникъ — Розенталь... И тоже, изволите видѣть, называется его другомъ. И вы можете представить.

Александра Павловна (нетерпѣливо).

Голубчикъ!

Татариновъ.

Нѣтъ, вы можете себѣ представить: я ужъ мѣсяцъ какъ не подаю ему руки, а позавчера сидимъ мы въ ресторанѣ втроемъ, я, Федя и этотъ негодяй, и онъ заговариваетъ со мной. Вы понимаете это?

Александра Павловна.

Да, да, я знаю, не волнуйтесь. Я знаю, насколько Розенталь вреденъ для Федя.

Татариновъ (успокаиваясь).

Вреденъ! (Вдругъ вспоминаетъ.) Позвольте, а откуда вамъ извѣстно, что я съ Федей ѣздилъ къ этой самой Беренсъ?

Александра Павловна (смущенно).

Мнѣ... кучеръ Еремѣй рассказывалъ.

Татариновъ.

Вотъ такъ Еремѣй! (Возмущенно.) Да еще Петровичъ! Но, по крайней мѣрѣ, онъ, этотъ вашъ повѣренный въ семейныхъ дѣлахъ, сообщилъ вамъ, что уже два мѣсяца, какъ Федоръ Ивановичъ не былъ у Беренсъ?

Александра Павловна.

Да, я знаю: съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхала Анфиса. (Тихо.) Какъ я счастлива, если бы вы знали!

Татариновъ (растроганно).

Милая вы моя!

Александра Павловна.

Я такъ измучилась.

Татариновъ.

Милая вы моя, такъ успокойте же вашу душеньку, знайте, что ужъ больше онъ къ этой женщинѣ не поѣдетъ — онъ мнѣ честное слово далъ. А вы говорите, зачѣмъ ѣзжу? — высидѣлъ таки его.

Александра Павловна.

Да. Онъ и мнѣ слово далъ, только вѣрить-то я боюсь. Какъ тутъ повѣрить, когда кругомъ такое дѣлается... Вы замѣтили, что сегодня нѣтъ у насъ ни Переплетчикова, ни Ставровскаго, ни Роговича...

Татариновъ.

Замѣтилъ. Какъ же этого не замѣтить!

Александра Павловна.

Что не пріѣхалъ сегодня ни Тимофей Андреевичъ, ни Маслобойниковъ и никто изъ товарищей-адвокатовъ. Кто у насъ сегодня? Шушера какая-то, да еще помощники Федора Ивановича, да еще этотъ Розенталь... О васъ я не говорю — вы Фединъ другъ.

Татариновъ.

Тяжело мнѣ говорить вамъ, Александра Павловна... но и я сегодня не прѣхалъ бы, не поклянись я никогда не оставлять Федора Ивановича.

Александра Павловна (возмущенно).

Послушайте, какъ вы смѣете это говорить. Развѣ Федя нечестный человѣкъ, къ которому нельзя и въ домъ прійти? Мнѣ всѣ уши прожужжали съ этой исторіей на судъ. А я и до сихъ поръ не понимаю, что здѣсь такого! Сказалъ онъ что-то — но вѣдь вы же сами находили, что рѣчь его была блестяща.

Татариновъ

(успокаивая, кладетъ свою руку на ея).

Да, да, милый другъ, вы этого не понимаете. Какъ бы вамъ это объяснить? Ну, въ увлеченіи защитой, желая во что бы ни стало выиграть дѣло, быть можетъ, сорвать лишній апплодисментъ — Федоръ Ивановичъ очень любитъ поклоненіе, — онъ позволилъ себѣ очень рѣзко, даже грубо, и даже совсѣмъ непристойно отозваться о потерпѣвшемъ, человѣкѣ очень несчастномъ...

Александра Павловна.

Правда, что изъ публики закричали: вонъ?

Татариновъ.

Ну, одинъ тамъ крикнулъ.

Александра Павловна.

Мнѣ передавали, что Федя обернулся и такъ гордо посмотрѣлъ на этого, который крикнулъ:

Татариновъ.

Ну, ужъ, какая тутъ гордость — извиниться бы надо, а не гордость! Ну, вотъ, всѣ товарищи его: Ставровскій, Роговичъ, ну, я и другіе — мы и думали какъ-нибудь уладить дѣло — все изъ-за любви къ его таланту. Вѣдь вы и представить не можете, какія надежды мы на него возлагали! Но вотъ тутъ какъ разъ Федоръ Ивановичъ и отмочилъ свою штуку: вмѣсто того, чтобы послушаться насъ и публично извиниться передъ потерпѣвшимъ, онъ сталъ въ эту гордую позу и говорить: „Не оттого ли, господа, вы такъ накинудись на меня, что вамъ просто — завидно: вѣдь дѣло-то я выиграю. Мнѣ надоѣла ваша опека, господа“. Повернулся и вышелъ. Ну, и дѣло-то онъ выигралъ, это вѣрно...

Александра Павловна.

Онъ тогда всю ночь по кабинету шагаль. И все вздыхаль. А потомъ какъ ударить кулакомъ по столу... я за дверью слушала. Господи, что же теперь будетъ?

Татариновъ.

Что жъ? Будемъ судить вашего Федю. И долженъ вамъ сказать, что я, какъ членъ совѣта, тоже подамъ голосъ за осужденіе. Нельзя-съ!

Александра Павловна.

Что же дѣлать, что же дѣлать?

Татариновъ (разводя руками).

Ну, ужъ какъ-нибудь.

Александра Павловна.

А позоръ? Федя этого не переживетъ. Вы погля-

дите, какой онъ сегодня — на него страшно смотрѣть. (Улыбается.) Тапера зачѣмъ-то пьянымъ напоилъ.

Татариновъ (въ негодованіи).

Вотъ это то и есть. Вотъ это-то и скверно. (Передразниваетъ.) Тапера пьянымъ напоилъ. Людей не уважаетъ вашъ Федя, вотъ въ чемъ его бѣда. Чтобы кланялись ему, любить, а на тѣхъ, кто кланяется, плюетъ. А попробуй-ка, не поклонись!

Александра Павловна.

Васъ онъ уважаетъ.

Татариновъ.

Я не про себя. Мнѣ до его уваженія дѣла нѣтъ, я клятву далъ. Пригрезилось ему, что онъ не адвокатъ во фракѣ, какъ всѣ мы грѣшные, а завоеватель какой-то — и онъ воюетъ, и онъ воюетъ! А съ кѣмъ? Тапера пьянымъ напоилъ. Чортъ знаетъ что... Не могу я этого выносить! Опять съ нимъ завтра цѣлый день ругаться буду.

Александра Павловна (устало).

Да, да, побраните его. Нездоровится мнѣ, голубчикъ. Идите себѣ, а я поваляюсь на бабушкиной постели. (Вдругъ смѣется.) Но какъ я счастлива, если бъ вы знали!

Татариновъ.

Ничего не понимаю.

Александра Павловна.

Ну, идите, идите. (Вдогонку.) И помните, что я самая красивая женщина, а не Анфиса.

Татариновъ (глухо, издалека).

Нѣтъ, Анфиса Павловна.

(Уходитъ. Александра Павловна идетъ за ширмы и говоритъ оттуда. Бабушка перестаетъ вязать и внимательно слушаетъ, вытянувъ шею и руку приставивъ къ уху.)

Александра Павловна.

Бабушка, ничего, что я у тебя на постели полежу? Голова очень кружится. Вотъ, когда я Вѣрочкой беременна была, такъ совсѣмъ иначе себя чувствовала, а теперь и не знаю, что со мной дѣлается. Второй мѣсяцъ беременности, а кажется такъ ужъ, будто полгода прошло. Не понимаетъ, не понимаетъ, да какъ же ему понять мою радость? И неужели же, бабушка, есть женщины, которыя боятся беременности, родовъ? — да вѣдь это же такое счастье! Анфиса говоритъ: лучше умру, а опять не забеременѣю... Да... Не было у нея хорошаго мужа, не знаетъ она, что такое хорошій мужъ. Ты слышала, бабушка, онъ больше къ этой мерзавкѣ не ѣздитъ, и дуракъ Татариновъ думаетъ, что это отъ него... Ахъ, какъ хорошо, такъ бы, кажется, и осталась тутъ лежать. Немножко распустила корсетъ, а ужъ и то какое облегченіе... Нѣтъ, отъ Анфисы это, отъ моей милой, благородной, несчастной Анфисы, отъ моей милой, несчастной сестры, которая сама извѣдала, что значить мужская измѣна и женское горе... Ты знаешь бабушка, эту ея исторію въ Смоленскѣ... съ офицеромъ? Федя про нее не знаетъ, одна только я знаю. Вѣдь это же ужасъ! Приѣхала она...

(Споткнувшись на ступенькахъ, почти вбѣгаетъ въ комнату гимназистъ Петя. Онъ очень красенъ, возбужденъ и минутами слегка шатается.)

Петя.

Фу, чтобъ тебя чортъ!.. Извините, пожалуйста, я, кажется, не туда. Нины Павловны здѣсь нѣтъ? Мнѣ показалось, извините, пожалуйста.

(Бабушка молчитъ и снова вяжетъ. Голосъ отъ двери гимназиста Померанцева, мрачнаго товарища Пети.)

Померанцевъ.

Петя, оставь!

Петя.

Я ее пригласилъ на третью кадрили, извините, пожалуйста, я вижу, что тутъ ея нѣтъ... До-свиданія!

(Такъ же быстро уходитъ, и слышно у двери, какъ оба гимназиста хохочутъ.)

Александра Павловна.

Какъ онъ меня напугалъ, — я ужъ Богъ знаетъ, что подумала. Охъ, надо собираться! Скажу Федѣ, что больше корсета носить не стану, боюсь повредить ребенку. Вѣдь не разлюбить? (Тихо смѣется.) Зато я ему непременно мальчика рожу. Чувствую я это. Когда женщина беременна мальчикомъ, то у нея должны быть минуты такой глубокой задумчивости, такой глубокой задумчивости... Вотъ какъ у меня иногда. Въ сущности я совершенно понимаю Федю, почему онъ не любитъ дѣвочекъ и такъ хочетъ мальчика. Ну, что такое мы, дѣвочки?..

(У двери голосъ Федора Ивановича: „Осторожнѣй, Анфиса Павловна, тутъ ступеньки“.)

Александра Павловна (испуганно).

Ахъ, Господи, Федя!

(Прячется за ширмы. Очень быстро, сильно взволнованная, входитъ Анфиса Павловна; за нею, словно настигая ее, круп-

но шагаетъ Федоръ Ивановичъ. Потому ли, что дальше идти некуда, потому ли, что она ищетъ какой-нибудь защиты, Анфиса останавливается у самаго кресла, держится за спинку кресла. Разговоръ отрывистый, дышать трудно, смотрятъ другъ на друга почти съ ненавистью.)

Анфиса.

Я не хочу слышать.

Федоръ Ивановичъ.

Я долженъ сказать.

Анфиса.

Я не хочу слышать. Оставьте! Бабушка...

Федоръ Ивановичъ.

Она не слышитъ. Я долженъ вамъ сказать. Я не могу! Во всемъ домѣ нѣтъ мѣста, гдѣ бы я могъ. Послушайте!

Анфиса.

Я не хочу.

Федоръ Ивановичъ.

Я не могу. Вы дѣлаете нарочно, чтобы измучить меня. Вы уходите, прячетесь. Я васъ ишу во всѣхъ темныхъ углахъ. Я сейчасъ безъ шапки бѣгалъ по саду, по колѣна въ снѣгу и звалъ. Зачѣмъ это?

Анфиса.

Я была въ гостиной.

Федоръ Ивановичъ (гнѣвно).

Да, въ гостиной. Сидѣла въ углу — съ этимъ ничтожествомъ — улыбалась ему, а я ее искалъ — по ко-

лѣна въ снѣгу. Это вы дѣлаете нарочно, вы хотите измучить меня!

Анфиса.

Васъ? Но при чемъ же вы здѣсь? Какое вы имѣете отношеніе къ тому, что я дѣлаю? Опомнитесь, Федоръ Ивановичъ. И я вовсе сидѣла не въ углу...

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, въ углу! Боже, зачѣмъ вы еще лжете?

Анфиса.

Федоръ Ивановичъ...

Федоръ Ивановичъ.

Ну, ладно, ну, простите. Я говорю глупости. Но я такъ измученъ! (Садится.) У меня еще и сейчасъ дрожать колѣна. Простите. Но больше я не могу. Я люблю...

Анфиса (быстро).

Вы любите жену.

Федоръ Ивановичъ (удивленно).

Жену?

Анфиса.

Да. Вы сами говорили это. Вы помните? Вы были съ нею такъ нѣжны, я такъ рада этому... Бѣдная Саша!

Федоръ Ивановичъ

(все такъ же удивленно).

Я съ ней нѣженъ? Развѣ? Это правда? Да, да, можетъ быть, — но развѣ вы не понимаете? Вы, умная такая. Я нѣженъ съ ней, потому что люблю васъ;

свою любовь къ вамъ я назвалъ инымъ именемъ... Только для вашей ласковой улыбки, только для того, чтобы на мнѣ остановился съ ласкою вашъ взоръ, я готовъ любить ее, другую, третью! Что за вздоръ!

Анфиса.

Молчите. Я не хочу! Пустите меня. И вы были равнодушны ко мнѣ, и вы говорили, что даже женщины во мнѣ не видите.

Федоръ Ивановичъ.

Это неправда.

Анфиса.

Такъ зачѣмъ же вы говорили неправду?

Федоръ Ивановичъ.

Не знаю. Но это неправда. Вы знаете... Вы знаете одинъ мой маленькій ужасъ, который становится теперь такимъ большимъ? Это можетъ быть только въ церкви, да, только въ церкви. И, вѣроятно, многіе изъ насъ испытываютъ это, но молчатъ. Тогда, на моей свадьбѣ, я вѣдь видѣлъ васъ впервые. На мнѣ уже былъ вѣнецъ, а жена — жена моя, не вѣста, не знаю, кто она тогда была, на ней также былъ вѣнецъ — улыбнулась кому-то и шепнула: смотри, пріѣхала Анфиса, какъ я рада. И я взглянулъ, и я тутъ же подумалъ, даю вамъ въ этомъ честное слово, и я тутъ же подумалъ — почему я женюсь на этой, а не на той? Потомъ забылъ, а теперь вспомнилъ.

Анфиса.

Мнѣ кажется... кажется, я почувствовала это. Впрочемъ, это неправда!

Федоръ Ивановичъ.

Зачѣмъ вы пришли такъ поздно?

Анфиса.

Пустите меня. Гдѣ Саша?

Федоръ Ивановичъ.

Зачѣмъ вы пришли такъ поздно?

Анфиса (твердо).

Пропустите меня, Федоръ Ивановичъ. (Спокойно проходить, задѣвъ его платьемъ, останавливается и говорить вполоборота.). Все это неправда, голубчикъ. Я васъ понимаю, вы ошиблись. Благодарность къ врачу вы приняли за любовь и уже начинаете мучиться здоровьемъ, но это пройдетъ. Вы будете любить Сашу, вы и сейчасъ любите ее, а я завтра — уѣду.

Федоръ Ивановичъ.

Уѣдете? Оставьте меня одного?

Анфиса.

При чемъ здѣсь вы? Я уѣду, потому что мнѣ надо ѣхать, потому что я устала, соскучилась, потому что мнѣ надоѣлъ, наконецъ, вашъ городъ, вашъ Татаринъ, вся ваша жизнь. При чемъ здѣсь вы?

Федоръ Ивановичъ.

Уѣдете теперь, теперь, когда всѣ оставили меня — теперь? Вы забыли, вы, навѣрно, забыли, что дѣлается вокругъ меня, иначе вы, великодушная, не сказали бы. Вы видѣли сегодня провалы: пустыя мѣста —

тамъ должны были находиться мои друзья. И ихъ нѣтъ — они ушли.

Анфиса.

Вы сами оттолкнули ихъ.

Федоръ Ивановичъ.

Ахъ, оставьте! Это должно было случиться. Я не могу вмѣститься въ ту щель, которую они оставили мнѣ. Я не могу!

Анфиса.

Вы оскорбили ихъ.

Федоръ Ивановичъ.

Я не виноватъ! У тѣхъ, кто хочетъ много, свои законы. Я не виноватъ. Но все же мнѣ больно, и мнѣ ихъ жаль... и одиночество пьетъ мою кровь. Помоги мнѣ, Анфиса! Ты такъ же одинока — помоги мнѣ, Анфиса! Дай, чтобы въ моей рукѣ я почувствовалъ другую, сильную, смѣлую, правдивую руку. Дай!

Хватаетъ Анфису за руку.)

Анфиса.

Оставьте меня! (Вырываетъ руку.) Что съ вами сдѣлалось, Федоръ Ивановичъ? — вы стали... грубы.

Федоръ Ивановичъ.

Я люблю васъ.

Анфиса.

Нѣтъ, вы просто стали грубы. Еще вчера... такой мягкій... благородный... вы показались близки мнѣ, какъ женщина. Вѣдь вы плакали вчера, когда я играла... да, да, какъ женщина.

Федоръ Ивановичъ.

Я плакалъ отъ любви къ тебѣ, Анфиса, а сегодня. Ахъ, Боже мой! Безъ шапки, по колѣна въ снѣгу, я бѣгалъ и звалъ ее — звалъ ее, — а она сидѣла тамъ — въ углу — съ этимъ ничтожествомъ. Какъ вы смѣли!

Анфиса.

Вы становитесь неприличны, Федоръ Ивановичъ! Я завтра уѣзжаю.

Федоръ Ивановичъ.

Скажи мнѣ: да. Выйди къ нимъ ко всѣмъ и скажи, что любишь меня.

Анфиса.

Завтра я уѣзжаю.

Федоръ Ивановичъ.

А я... одинъ?

Анфиса.

Съ вами останется жена.

Федоръ Ивановичъ.

Плохая шутка, Анфиса Павловна.

Анфиса (гнѣвно).

Ахъ, Боже мой! Да поймите же вы, что я просто, что я просто — не люблю васъ.

Федоръ Ивановичъ (устало и покорно).

Да? Такъ вотъ какъ значить. Хорошо! Ну, такъ уходите же — чего же вы стоите, развѣ вы не все сказали? Что вы такъ смотрите на меня — я вамъ

противень? Быть можетъ жалокъ? Ну? Развѣ вы не все сказали?

Анфиса (коротко).

Все.

(Быстро уходитъ. Федоръ Ивановичъ нѣсколько разъ проходитъ по комнатѣ, останавливается, думаетъ о чемъ-то, сильно вздыхаетъ и, окинувъ комнату быстрымъ взглядомъ опомнивагося челоуѣка, хочетъ уходить. Но вспоминаетъ — и подойдя къ самому креслу бабушки, продолжительно и строго грозитъ ей пальцемъ.)

Федоръ Ивановичъ.

Молчи.

(Спицы въ рукахъ бабушки замѣтно дрожать. Федоръ Ивановичъ уходитъ. Изъ-за ширмы появляется блѣдная, растерянная Александра Павловна, торопливо застегиваетъ крючки на лифѣ, и какъ-то нелѣпо, словно слѣпая, тычется въ углы.)

Александра Павловна.

Ахъ, Боже мой! Что же это, бабушка. Какъ же мнѣ быть, если онъ догадается, что я была здѣсь и все слышала. Что я ему скажу, онъ не повѣритъ, что я нечаянно. Молчи, бабушка, молчи! Бабушка, милая бабушка, у меня ноги подгибаются, я упаду сейчасъ, бабушка...

(Вбѣгаютъ очень веселые Ниночка и гимназистъ Петя.)

Ниночка.

Саша, Саша, гдѣ ты? Тебя Федя ищетъ. Скорѣе, сейчасъ ужинь!

Александра Павловна.

Я только сейчасъ, я была въ дѣтской.

Ниночка.

Уже скоро двѣнадцать!

Александра Павловна.

Вотъ какъ, а я и не думала, что уже скоро двѣнадцатъ. Я была въ дѣтской. Вотъ какъ странно — уже скоро двѣнадцатъ.

Ниночка (удивленно).

Да что съ тобой, Саша?

Александра Павловна.

Я была въ дѣтской, что же можетъ быть со мной; вотъ странно. Я все время была въ дѣтской.

Ниночка (беретъ ее за руку).

Идемъ, идемъ!

Александра Павловна.

Да, конечно, идемъ, а то какъ же? Конечно идемъ. И вы съ нами, Петя, или вы останетесь тутъ?

Петя (хохочетъ).

Тутъ? Съ бабушкой?

Александра Павловна.

Ну да, я хотѣла сказать...

(Уходятъ, оставляя дверь открытою. Бабушка перестаетъ вязать и слушаетъ, приложивъ руку къ безкровному уху. Слышны восклицанія, смѣхъ, обрывки музыки и пѣнія, затѣмъ наступаетъ тишина — и въ тишинѣ большіе часы отчетливо и гулко отбиваютъ двѣнадцать ударовъ. И какъ торопливое, маленькое эхо, запоздавъ на минуту, отвѣчаютъ и маленькіе часы въ бабушкиной комнатѣ. Тѣхъ, далекихъ часовъ, бабушка, видимо, не слыхала, но къ этимъ прислушивается внимательно, подтверждаетъ слабыми кивками головы торопливые удары — и снова берется за чулокъ. А

тамъ уже снова говоръ и смѣхъ и тонкій звонъ стекла, поздравленія, разрозненное, неудавшееся „ура“. Весь этотъ разноголосый шумъ приближается сюда, и отдѣльные всплески его раздаются въ самой бабушкиной комнатѣ.)

Голоса.

— Къ бабушкѣ, къ бабушкѣ, поздравлять, — держите тапера — онъ разобьетъ фортепіано. Петя, оставь.

(Первыми входятъ старики Аносовы, родители Александры Павловны.)

Аносовъ.

Ну, держись, бабушка, къ тебѣ цѣлое нашествіе! Такъ пока что, до галдежу всякаго, мы вотъ и пришли со старухой тебя поздравить. Поздравляю. Ничего, живи себѣ, коли ужъ столько прожила, что жъ съ тобой подѣлаешь. Ну, и что Федя съ этимъ музыкантомъ надѣлалъ: онъ эту самую свою фортепіану, какъ хорошій мужъ хорошую жену, бьетъ и по ушамъ, и по мордасамъ, и за волосы ее волочить... а самъ-то хочеть, чудакъ! Хорошій, видно, человѣкъ!

Аносова.

Я уже и смотрѣть боюсь, какъ онъ мудруетъ, вотъ-вотъ посуду бить начнетъ. Хорошій человѣкъ въ семейномъ домѣ такъ себѣ напиться не позволить. Я уже и то говорю Сашенькѣ: ты бы, дочка, лучше въ кухню его отправила, пусть тамъ по столу колотить. Она говоритъ, нельзя — гость. Какой же онъ гость, когда музыкантъ, да еще пьяный.

Аносовъ.

Вотъ и они. Веселый народъ!

Голосъ Розенталя.

Господа, факельцугъ. Берите свѣчи.

(Безпорядочной толпою, съ попыткой изобразить факельное шествіе, спотыкаясь на ступенькахъ, съ говоромъ и смѣхомъ, входятъ гости. Развязно, нѣсколько иронически, видимо продѣлывая шутку, поздравляютъ бабушку; но встрѣчаютъ старое, сѣрое, тайной старости и знанія замкнутое лицо, видятъ мелькающія спицы, слышать глухое, но тревожное молчаніе — и въ смущеніи неловко отходятъ.)

Розенталь

(добродушно кричитъ старухѣ на ухо).

Бабушка, слышали, еще Новый годъ наступилъ. Понимаете, Новый годъ? Поздравлять пришли. Съ новымъ счастьемъ, съ новымъ годомъ, ну, и такъ далѣе. Ну, а вотъ зубы-то уже не вырастутъ, бабушка?

Аносовъ.

А вы ее, господинъ Розенталь, не тревожьте — отъ такого ласковаго крика она и помереть можетъ, жизнь-то у нея промежъ пальцевъ вертится. Не сдунуть бы.

Ниночка (цѣлуетъ старуху).

Милая, ты моя старушка, вотъ и раскрылись ворота.

(Гимназистъ Петя идетъ подъ руку съ таперомъ, оба покачиваются. Таперъ молодой, краснолицый, прыщеватый малый, съ длинными мочалистыми волосами, которые нависаютъ ему на лобъ и которые онъ смахиваетъ съ такимъ видомъ, какъ будто ловить муху. Радостно смущенъ, давно уже потерявъ языкъ и только временами дико хохочетъ и взмахиваетъ руками, какъ бы разбивая рояль. Подружившійся съ нимъ Петя громко поетъ ему на ухо.)

Петя.

„Разбивъ мое сердце безбожно, она мнѣ сказала:

„прости“. Такъ будемъ же пить пока можно, а тамъ хоть трава не расти“.

(Отчаянно машетъ рукой, таперь дико хохочетъ.)

Померанцевъ (пьяный и мрачный).

Оставь, Петя, не унижай себя.

Аносова.

Ай-ай-ай, вотъ бы повидали васъ родители.

Померанцевъ (мрачно).

У насъ нѣтъ родителей. Мы подкидыши.

Петя (кричить).

Нина Павловна, съ Новымъ годомъ и съ новымъ счастьемъ. „Разсудокъ твердить укоризну, но поздно, меня не спасти“...

(Подъ руку съ женой входитъ Федоръ Ивановичъ, улыбается, что-то шепчетъ, наклоняясь къ ней. Съ той же улыбкой, безразлично, но слишкомъ долго смотреть на Анфису, которая въ сторонѣ тихо разговариваетъ съ очень скромнымъ молодымъ человѣкомъ въ судейской формѣ.)

Федоръ Ивановичъ.

Что съ тобою, Саша, тебѣ нездоровится?

Александра Павловна.

Да, я устала очень. Ты знаешь...

Федоръ Ивановичъ (рѣзко).

Я не люблю усталости! (Нѣжно.) Впрочемъ, и правда, ты, быть можетъ, прилегла бы. Устала, бѣдная моя красавица!

Александра Павловна (вздыхаетъ).

Да, красавица.

Розенталь

(подхвативъ послѣднія слова).

Да, не всѣмъ красота моя нравится. Вѣрно. Тише, господа. Maestro, перестаньте такъ дико хохотать — нашъ Цицеронъ намѣревается произнести рѣчь. Вниманіе, вниманіе!

Татариновъ

(длительно и строго смотритъ на Розенталя, потомъ отворачивается и медленно начинаетъ).

Господа! Передъ лицомъ этой почтенной старости, меня особенно волнуетъ вопросъ о времени, о его, такъ сказать, текучести и въ связи съ нимъ вопросъ о томъ, что такое Новый годъ, для встрѣчи котораго...

Розенталь (передразнивая).

На основаніи вышеизложеннаго...

Татариновъ

(еще строже и еще медленнѣе).

Для встрѣчи котораго мы собрались подъ гостепріимнымъ кровомъ Федора Ивановича. Новый годъ...

Розенталь.

И имѣя въ виду кассационное рѣшеніе за номеромъ 2,240...

Татариновъ.

Федоръ Ивановичъ, попросите вашего друга замолчать, иначе я за себя не ручаюсь.

Федоръ Ивановичъ.

Оставь, Иванъ Петровичъ. Ты больше по гражданскимъ дѣламъ, а тутъ... тутъ, братъ, дѣло уголовное. (Отстраняетъ отъ себя жену, выступаетъ нѣсколько впередъ и говорить, глядя только на старуху. Только разъ или два въ теченіе рѣчи быстро взглядываетъ на Анфису.) Да, господа. Не скажу, чтобы мы находились передъ такимъ уже почтеннымъ лицомъ, какъ выразился мой товарищъ — но что это лицо важно, что это лицо загадочно и даже страшно, объ этомъ я позволю себѣ сказать нѣсколько словъ.

Татариновъ.

Ну, разъ ты самъ хочешь говорить, тогда дѣло другое. Послушаемъ. Господа, Федоръ Ивановичъ говорить.

Федоръ Ивановичъ

(небрежнымъ, нѣсколько презрительнымъ жестомъ указываетъ на бабушку).

Взгляните на нее. Никто не знаетъ, откуда она пришла и чѣмъ она была; я самъ только смутно слышалъ о какомъ-то ея мужѣ, братѣ моего дѣда, который умеръ слишкомъ рано, да, слишкомъ рано. И родившись вмѣстѣ съ этими старыми, полусгнившими стѣнами, я нашелъ и ее, такую же старую, гнилую, наполовину истлѣвшую — но живую. И уже въ дѣтствѣ я боялся ея, и этой комнаты, и этихъ безконечныхъ петель, которыя нанизываетъ она. (Быстро.) Я не вѣрю, что это — чулокъ.

Аносовъ

(безпокойно и примирительно).

Ну, что ты, Федя, старушка и старушка. Эка, тогда и всѣхъ насъ, стариковъ, бояться надо.

Татариновъ.

Ты отходишь отъ темы, Федоръ Ивановичъ.

Федоръ Ивановичъ.

Кто она? Гдѣ обитаетъ ея темная душа? Въ какихъ болѣзненныхъ корчахъ, смутныхъ и страшныхъ снахъ, въ бреду старческаго безумія доживаетъ послѣдніе дни ея истлѣвшій, полумертвый духъ, измученный плѣномъ долгой жизни? Она женщина — что это значить? Она старуха — что это значить? Какіе образы хранить ея дырявая обветшалая память? — Быть можетъ, вся въ ничтожныхъ мелочахъ, быть можетъ, вся въ чаду зловѣщей тайны какихъ-то золь, какихъ-то страшныхъ преступленій.

Александра Павловна.

Федя...

Татариновъ.

Федоръ, оставь, нехорошо. Нетактично.

Федоръ Ивановичъ (гнѣвно).

Молчи! — Я знаю, напимѣръ, что притворяется она глухой, — зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы слышать — чтобы знать? Затѣмъ, чтобы молчать? Но я — человекъ не робкій — я боюсь этой глухоты, въ которой такъ много чуткости, я боюсь этого молчанія, въ которомъ такъ много неразгаданной, но громко кричащей лжи!

Александра Павловна.

Федя. Я прошу тебя...

Анфиса.

Не довольно ли, Федоръ Ивановичъ?

Розенталь.

Браво.

Федоръ Ивановичъ (мрачно).

Нѣтъ, не довольно. Я еще не сказалъ самаго важнаго, я еще не сказалъ, что она — раба. А я боюсь рабовъ — они бьютъ въ спину! Я боюсь этихъ загадочныхъ существъ, у которыхъ куда-то въ глубину, въ потемки загнана свобода, а наружу осталась только хитрость да злость. (Вздрагиваетъ.) Да страшные удары въ спину.

Ниночка (громко).

Это неправда!

Аносовъ.

Оставь, Нинка, ты куда еще лѣзешь?

Ниночка (еще громче).

Это неправда, неправда, неправда!

Анфиса (бросается къ ней).

Что съ тобою, Ниночка, что ты, голубчикъ. Вотъ что вы дѣлаете, Федоръ Ивановичъ, вашимъ . . . красно-рѣчьемъ.

Федоръ Ивановичъ.

О чемъ ты, Нина?

Ниночка (плачетъ, громко).

Оставь меня. Это неправда, что тебя въ спину . . .

въ спину... Я не хочу, чтобы ты думалъ такъ, это ужасно думать такъ, я не хочу, это неправда...

Федоръ Ивановичъ.

Да, голубчикъ ты мой... Розенталь, принеси ей воды. Да вѣдь я жъ не про себя! Ну, кто жъ, подумай, ударить меня въ спину?

Ниночка.

Боже мой, я не могу, я побѣгу, я побѣгу въ садъ!
(Съ плачемъ убѣгаетъ.)

(Піанистъ дико хохочетъ.)

Петя (взволнованно).

Померанцевъ, ты мнѣ другъ или нѣтъ? Идемъ за ней.

Померанцевъ (мрачно).

Оставь, Петя. Онъ правъ.

Петя.

Идемъ!

(Уходятъ.)

Александра Павловна

(блѣднѣетъ и шатается).

Ой, подъ сердцемъ... руку ..

Татариновъ (даетъ ей руку).

Ну, вотъ ужъ это совсѣмъ некстати. Талантливо, но чортъ знаетъ какая ерунда! И опять-таки не-тактично.

Анфиса.

А по-моему даже и не талантливо, а только...

Федоръ Ивановичъ (смѣется).

А только? Договаривайте. Знаете: это скверное свойство — не договаривать или сказать все — и не уходить.

(Мгновеніе они мѣряются взорами; затѣмъ Анфиса гнѣвно хватается за руку покорнаго судейскаго.)

Анфиса.

Идемте!

Занавѣсъ.

Второе дѣйствіе.

Второе дѣйствіе.

Душный іюньскій вечеръ. Гостиная въ домѣ Костомаровыхъ. Всѣ четыре окна на улицу раскрыты настежь, за окнами непроглядная темень. Улица, на которой стоитъ домъ Костомаровыхъ, окраинная, малоѣзжая; и въ этотъ черный, душный вечеръ она пустынна и нѣма. Только у воротъ тихо бесѣдуетъ отдыхающая прислуга, да изрѣдка подъ окномъ прозвучать чьи-то неторопливые шаги. Темно и душно и въ гостиной. Горитъ лишь одна лампа съ краснымъ матерчатымъ абажуромъ; вокругъ лампы на диванѣ и креслахъ сидятъ старики Аносовы и Александра Павловна. На подоконникѣ одного изъ раскрытыхъ оконъ сидитъ Анфиса; ея совсѣмъ почти не видно, и только, когда она говоритъ, начинается смутно бѣлѣть ея лицо въ черной рамкѣ ночи, чернаго платья и черныхъ волосъ.

Александра Павловна

(говорить устало и немного разслабленно).

И ужъ какое лѣто грозовое: все грозы да грозы, а по деревнямъ пожары. Третьяго дня въ Кочетовкѣ дѣвочку молніей убило.

Аносовъ.

На все Божья воля.

Аносова

(пристально смотреть на неяркій огонь лампы).

Ужъ на что бы казалось проще: лампа горитъ, а вотъ не могу глазъ отвести, да и только. До того измаялась я въ темнотѣ, что моченьки моей не стало, будто теперь только узнала я, какая такая есть темная ночь.

Аносовъ.

Керосинъ нужно поберечь. Вонъ птицы безо всякихъ лампъ живутъ и не жалуются.

Аносова.

Да ужъ и жалѣемъ! Цѣлое лѣто такъ-то вотъ передъ темнымъ окномъ сидимъ, да горькія думы свои думаемъ. Все копеечку бережетъ старикъ-то нашъ.

Аносовъ.

Не ропщи!

Аносова.

Да я не ропщу. А вотъ только намеренъ, сажу я какъ-то у окна, да и осуждаю нашу управу! и чего бы, думаю, у нашего дома фонарь ей не поставить: глядѣла бы я на него, и все какъ будто свѣтъ въ очахъ. А то поставили за угломъ, — кому онъ тамъ нуженъ!

Аносовъ.

Стало-быть, нуженъ. Тебѣ одной, думаешь, свѣтъ пріятенъ — эка!

Аносова.

Думаю это я и осуждаю, а вдругъ, глядь какой-то прохожій, дай Богъ ему здоровья, спичкой чиркнулъ, папиросу, должно быть, зажигалъ. И ужъ до того пріятно это показалось, и ужъ такъ-то я этому огонечку обрадовалась: не забылъ, думаю, Господь, о завтрашнемъ днѣ напоминаетъ.

Аносовъ.

Такъ-то лучше! Вотъ погоди, старуха, скоро именинница будешь, такъ цѣлый коробокъ спичекъ подарю, такой фейерверкъ устроишь, какъ на пожарномъ гуляніи, въ саду.

Александра Павловна.

Почаще бы къ намъ ходили, мамаша, а то не дозовешься.

Аносова.

Да, попробуй, поговори-ка съ нимъ.

Аносовъ.

Нѣтъ, дочка, ты ужъ лучше не приглашай. У тебя своя жизнь, молодая, веселая, беззаботная, а у насъ

своя — стариковская, и зачѣмъ же мы будемъ докучать тебѣ нашимъ видомъ печальнымъ? Видъ у насъ очень печальный, Сашенька. Какъ Божьей милостью затонули мои три баржи безвозмездно, и попалъ я въ несостоятельные должники...

Аносова.

Ты, Сашенька, тогда еще въ дѣвицахъ ходила, и вотъ ужъ чего не помню: кончила уже тогда гимназію или еще училась?

Александра Павловна.

Да въ ту же весну и кончила. Какъ же вы не помните, мамаша?

Аносова.

Перепуталось все. И себя-то ужъ плохо помнимъ.

Аносовъ.

И съ тѣхъ поръ берегу я каждую копейку, чтобы удовлетворить моихъ господъ кредиторовъ. Конечно, могъ бы я и не платить — полгорода надо мною смѣется: вотъ, говорятъ, старый дуракъ, себя кровей лишаетъ, добрымъ людямъ брюхо растить. Даже господа кредиторы и тѣ удивляются, какъ я имъ каждое первое число то пятерочку, а то, Богъ дастъ, и десяточку приношу. Да плюньте вы, говорятъ, Паль Палычъ, мы ужъ про всякіе ваши долги забыли, но, однако, я не позволяю и только тихимъ голосомъ говорю: дозвоьте расписочку въ полученіи.

Александра Павловна.

Федя и то говоритъ: давно бы вамъ перестать, папаша, — смѣшно, право!

Аносовъ.

Нѣтъ, не смѣшно. Но обстоятельства въ томъ, что я люблю справедливость. Кого Богъ покаралъ? Меня, Павла Павлова, сына Аносова. Такъ кому жъ отдуваться? Мнѣ, Павлу Павлову, сыну Аносову. Для кажнаго человѣка — вслушайся, Анфиса, и ты въ мои слова, ибо говорю я отъ чистаго сердца и духа моего...

Анфиса (тихо).

Я слушаю.

Аносовъ.

Для кажнаго человѣка есть своя справедливость. И есть она не только для господина губернатора, но даже, вслушайтесь, и для самого министра земледѣлія и промышленности. И ежели ужъ хорошій песъ, и тотъ свои обязанности понимаетъ, никогда куска безъ дозволенія не возьметъ, такъ что же я, купецъ, хуже собаки, что ли?

Аносова.

За то Павла Павловича весь городъ уважаетъ.

Аносовъ.

Что городъ. Меня вся губернія уважаетъ. Мужики на базарѣ и тѣ меня запримѣтили и весьма кланяются.

Аносова.

Ну, еще бы, мужики.

Аносовъ.

А ты, старая, жалуешься. Керосину и въ острогѣ достаточно, а вотъ, чтобы безъ него свѣтло было, такъ это можетъ у насъ только и есть. Ахъ, мало справедливыхъ людей на свѣтѣ! И Господь Богъ вос-

чувствовалъ это, взялъ дочерей моихъ и устроилъ. Вотъ только тебя, Анфиса, мнѣ очень жалко: и умная ты, и красивая ты, и очень справедливая — про тебя, Сашенька, голубчикъ, я этого не скажу, — а живешь ты такъ, что ни Богу ты свѣча, ни чорту кочерга.

Анфиса.

Живу, папаша, какъ умѣю. Сами знаете, что такое жизнь.

Аносовъ.

Знаю, дочка, знаю. Ты не обижайся, мы съ матерью очень уважаемъ тебя. Кто первый сказалъ тебѣ; брось этого стервеца, хоть онъ и чиновникъ министерства финансовъ?

Анфиса.

Вы, папаша.

Аносовъ.

Ну, вотъ то-то. А ты, Сашенька, вслушалась въ мои слова?

Александра Павловна.

Какъ же, вслушалась. Это вы вѣрно сказали: Анфиса очень справедливая. Про себя я не говорю, что я такое? А она очень справедливая. Прямо сказать — другой такой женщины среди насъ, можетъ быть, и не найдется.

Анфиса (веселымъ голосомъ).

Ну, оставь, Саша!.. Просто я... Ты сама такая хорошая...

Аносова.

Да, занапрасно ты, старикъ, Сашеньку обидѣлъ

твоею справедливостью. На что я добра, а Саша, такъ та просто до глупости.

Аносовъ.

Ну, и слава Богу! Всѣ, стало-быть, хорошіе люди оказались, одинъ другого лучше. До того хорошіе, что можно и по домамъ идти.

Александра Павловна.

Посидите, рано еще. Можетъ, скоро и Федя изъ сада вернется.

Анфиса.

Онъ съ Ниночкой поѣхалъ?

Александра Павловна.

Да. Посидите, папаша, а то мнѣ, право, скучно.

Аносовъ.

Ничего, съ сестрой посидишь, а намъ и спать пора. А Федору Ивановичу передай ты, Сашенька, мое высокое почитаніе и скажи ему: день и ночь благодаримъ мы его со старухой за Ниночку, что приютилъ сироту. Потому что у такихъ родителей, какъ мы, несостоятельныхъ должниковъ, и дѣти сироты. Подарочекъ я ему одинъ приготовилъ, мундштукъ пѣнковый пріобрѣлъ на толкучкѣ. Очень занятой конструкции, съ голой женщиною — старуха даже смотрѣть не хочетъ, хотя женщина при всемъ своемъ справедливомъ фасонѣ... Но объ этомъ молчокъ.

(Уходятъ и Александра Павловна ихъ провожаетъ. Во время дальнѣйшаго разговора въ передней, Анфиса быстро ходитъ по комнатѣ и нѣсколько разъ хватается за голову.)

Аносовъ.

Ну, какъ, дочка?

Александра Павловна.

Да ужъ седьмой мѣсяцъ.

Аносовъ.

Ну, и напьюсь же я у тебя на крестинахъ, дебошъ произведу. Да музыканта энтаго пригласи, ужъ очень онъ веселый человѣкъ. Какъ хватить!... Постой, старуха, что это ты подъ тальму прячешь? Не воруй, городского позову.

Аносова (робко).

Это мнѣ... Саша свѣчку на всякій случай дала. Огарочекъ!

Аносовъ.

Э, нѣтъ. Отдай назадъ. У нея тамъ цѣлыя паникадила горять, а она — огарочекъ! Э-э-эхъ! Не коснулся, видно, Господь еще женщины, и сколько ты ее ни корми, а она все въ лѣсъ смотритъ.

Александра Павловна.

Это я, папаша.

Аносовъ.

Ну, и ты хороша. Огарочекъ... То-есть изъ-за какого-нибудь огарочка она тебѣ...

(Голоса смолкаютъ. Александра Павловна возвращается.)

Александра Павловна (смѣется).

Вотъ исторія! Такъ разсердился старикъ, что даже прощаться не захотѣлъ — грозить, что ходить не станетъ.

Анфиса.

Я слышала.

Александра Павловна.

А у мамыши въ лѣвой рукѣ цѣлковый зажать, всю дорогу теперь дрожать будетъ, какъ бы не по-пасться. (Ласково.) Что съ тобой, Анфисушка, мрачная ты какая?

Анфиса.

Такъ, голова немного болить.

Александра Павловна.

Ой, смотри, боюсь я этой головной боли. А не поташниваетъ тебя?

Анфиса (весело).

А отчего меня будетъ тошнить? Хотя, конечно, при мигрени...

Александра Павловна.

Я и говорю, что при мигрени. Вотъ странная вещь: когда я Вѣрочкой беременна была, такъ просто не знала, куда дѣваться отъ тошноты, а вотъ теперь какъ-то незамѣтно прошло. Отчего бы это?

Анфиса.

Не знаю, право, я такъ давно беременна была, что ужъ все... перезабыла. Кажется, и меня тошнило.

Александра Павловна (смѣется).

Ну, конечно, откуда тебѣ и знать? Живешь ты, какъ честная вдова... А вотъ выдамъ тебя замужъ, тогда опять вспомнишь. (Серьезно.) И вотъ что, сестра, не забудь своего обѣщанія.

Анфиса (тревожно).

Какого?

Александра Павловна.

Такого. Неужели позабыла? Ахъ, нехорошо, нехорошо, сестра, такъ я на тебя полагалась, такъ я тебѣ вѣрила всегда — вѣдь я тебя чуть ли не святой считала, ей Богу.

Анфиса.

Да про что ты?

Александра Павловна (смѣется).

А въ крестныя матери-то. Помнишь, ты сказала: какъ только второй ребенокъ родится, обязательно тебя, Саша, въ крестныя матери позову.

Анфиса (смѣется).

Развѣ общала? Ну, тогда, правда, забыла совсѣмъ, вѣдь ты знаешь, какъ я далека отъ всего отъ этого.

Александра Павловна.

Всякій знаетъ.

Анфиса.

Ты вотъ говоришь — замужъ, а я какъ вспомню про это несчастное замужество свое, мнѣ становится такъ грустно, такъ обидно... Слѣпая я тогда была. Вонъ есть пословица: кого Богъ хочетъ погубить, того сперва лишаетъ разума. А насъ всѣхъ онъ раньше лишилъ разума, — пусть выбирается, которая сумѣетъ.

Александра Павловна (громко).

А офицера въ Смоленскѣ помнишь?

Анфиса (испуганно).

Тише! (Строго.) И никогда не вспоминай мнѣ этого, слышишь? Этого не было никогда. Я ничего не помню, и ты забудь, и пусть никто не знаетъ о моемъ позорѣ.

Александра Павловна (съ раскаяніемъ).

Ахъ ты, Господи, что же я надѣлала? Дѣло, думаю, прошлое, и потомъ же не чужому говорю, а своему...

Анфиса.

Ты рассказала?

Александра Павловна.

Да, Федѣ.

(Молчаніе.)

Александра Павловна.

Ты бы, Анфиса, ментолу попробовала, а то можно въ аптеку за карандашомъ послать. Мишка живо сбѣгаетъ. (Подходить къ окну, кричить.) Миша.

Анфиса.

Нѣтъ, не надо. У меня уже совсѣмъ прошла. Просто отъ жары. Такой душный день сегодня. (Пьетъ воду, говорить насмѣшливо.) Ну, и что же сказалъ твой благовѣрный, удивился?

Александра Павловна.

Представь себѣ — не очень. Только засмѣялся и говорить...

Анфиса.

Ну, хорошо, будетъ объ этомъ, неинтересно. Какая жара!

Александра Павловна.

Да. Хоть бы вѣтеръ былъ. Да вотъ еще, кстати, все забываю тебѣ сказать: у меня одна часть твоего туалета лежитъ, возьми, пожалуйста.

Анфиса.

Что? Отъ стирки что-нибудь осталось?

Александра Павловна.

Нѣтъ. (Смѣется.) Представь себѣ какой случай: наша Катя въ кабинетѣ Федора Ивановича подняла. Ну, конечно, ко мнѣ и принесла. Такъ возьми, пожалуйста, не забудь.

Анфиса (смѣется).

Этого не можетъ быть, что ты говоришь! Какіе пустяки!

Александра Павловна.

Отчего же не можетъ быть? Сидѣла въ кабинетѣ, подшивала, а тебя кто-нибудь позвалъ, ты и забыла. Тамъ и сейчасъ кружевцо немного оборвано. Ты не волнуйся! Я такъ Катѣ все и объяснила. А то ты знаешь, какой у насъ народъ на кухнѣ — пойдутъ разговоры. (Строго.) Если тебѣ другой разъ понадобится что-нибудь работать, такъ приходи ко мнѣ. А то все-таки кабинетъ адвоката, кліенты, посторонніе люди бываютъ, неудобно, если вдругъ на полу...

Анфиса.

Да, конечно, конечно. Федоръ Ивановичъ любитъ порядокъ. Я вообще рѣдко встрѣчала человѣка, который, съ одной стороны, былъ бы такъ безалаберенъ, какъ твой Федя, а съ другой... Хоть бы гроза, что

ли! Знаешь, не пройтись ли намъ хоть по улицѣ около дома? Засидѣлись мы съ тобой, какъ старухи. Когда я въ Смоленскѣ жила, тамъ тоже есть садъ, Лопатинскій называется...

Александра Павловна.

Что жъ, пойди, а я Федю ждать буду. Онъ такой милый сталъ за послѣднее время, что я и не знаю, какъ тебя благодарить. (Смѣется.) Ну, что я теперь? Беременная, некрасивая, самой на себя въ зеркало взглянуть противно, а онъ меня цѣлуетъ, какъ невѣсту. Позавчера ночью я даже испугалась. Кто это, думаю, вошелъ?

Анфиса.

Ну?

Александра Павловна.

Такъ тебѣ все и рассказывать, какая ты любопытная! (Съ нескрываемой насмѣшкой.) Сама, я думаю, прекрасно знаешь, что бываетъ между мужчиной и женщиной, когда они другъ друга любятъ.

Анфиса.

Но онъ...

Александра Павловна (вызывающе).

Что онъ? Не любить?

(Молчаніе. Смотрятъ другъ на друга.)

Анфиса (упавшимъ голосомъ).

Жарко.

(За окномъ голосъ Татаринова:)

— Можно? я только на минутку.

Александра Павловна

(съ сожалѣніемъ отрывая взглядъ отъ Анфисы).

Эка, принесла нелегкая. (Въ окно, со смѣхомъ.) Заходите, заходите, Иванъ Петровичъ, очень рады. Мы здѣсь съ Анфисой, какъ двѣ безутѣшныя вдовы. (Къ Анфисѣ.) Милый человѣкъ — я его очень люблю. Ты рада, что онъ пришелъ?

Анфиса (смѣется).

Только ужъ очень онъ скучный. Про него вѣрно Розенталь говоритъ...

(Входитъ Татариновъ, его радушно встрѣчаютъ, но онъ мраченъ.)

Александра Павловна.

Что это вы такой мрачный, Иванъ Петровичъ. (Безпокойно.) Случилось что-нибудь?

Татариновъ.

Нѣтъ, нездоровится. Съ желудкомъ что-то неладное, завтра къ доктору пойду. Какой-нибудь дрянью въ ресторанѣ накормили.

Анфиса.

Вы откуда?

Татариновъ.

Откуда же! — изъ городского сада. Съ Федоромъ Ивановичемъ тамъ сидѣли, онъ пиво пилъ, а я ничего не стала. Ну, конечно, Розенталь. Но только (разгорячася и ходя по комнатѣ) я больше этого терпѣть не стану. Пусть у Федора Ивановича будетъ хоть геній, а я этого терпѣть не стану. Эта... развратнѣйшая личность, этотъ нахаль Розенталь...

Александра Павловна.

Опять?

Татариновъ (останавливаясь).

Вы знаете эту собаку въ саду, приبلудная какая-то, всѣ ее знаютъ, вертится постоянно. (Мрачно.) Жучкой ее зовутъ.

Александра Павловна.

Не знаю.

Татариновъ.

А, Господи, ее всѣ знаютъ. Но только чортъ ее знаетъ, откуда она. И вотъ сегодня вертится она во-кругъ нашего стола, а Розенталь говоритъ шопотомъ Федору Ивановичу: посмотри, какъ нынче Татариновъ мраченъ. Ну, а я, знаете, нездоровъ, и мнѣ даже пріятно показалось, что такой негодяй тоже имѣетъ человѣческое сердце. И что же? Это оттого, говоритъ, Татариновъ такъ мраченъ, что не знаетъ навѣрно, кто Жучкинъ отецъ, и не можетъ назвать ее по отчеству. А?

(Объ женщины смѣются.)

Татариновъ (горько).

Смѣшно? И вотъ такое кабацкое остроуміе всегда будетъ имѣть успѣхъ, а то, что я не подаю ему руки, то, что я членъ совѣта сословія присяжныхъ повѣренныхъ...

Анфиса (примирительно).

Да оставьте, голубчикъ, да охота же вамъ. Болтунъ, говоритъ глупости, а въ сущности говоря — очень безобидный и даже хорошій человѣкъ.

Татариновъ.

Я буду жаловаться на него въ совѣтъ.

Александра Павловна.

Ну, и жалуйтесь. Пусть ему зададутъ хорошенько.
Ну, а что Федя?

Татариновъ.

Тамъ эта Беренсъ...

Объ женщины.

Что?? Беренсъ?

Татариновъ.

Успокойтесь, все обошлось прекрасно. Я какъ разъ и рассказать хотѣлъ, что совсѣмъ наоборотъ. Можно говорить? Впрочемъ, вы объ...

Александра Павловна.

Да, объ. Говорите.

Татариновъ.

Ну вотъ, сидимъ мы это за столикомъ тутъ, и Нина Павловна съ нами была, и вдругъ эта Беренсъ подходитъ къ намъ прямо къ столу — вы представляете себѣ эту дерзость? — колышетъ этакъ шляпой и говоритъ: Федоръ Ивановичъ, я случайно осталась одна, не можете ли вы проводить меня до дому? Нина Павловна даже поблѣднѣла, а я...

Александра Павловна.

Да ну, скорѣй же говорите.

Татариновъ (торжественно).

И Федоръ Ивановичъ взялъ ее за руку, вотъ такъ, и просто отвелъ отъ стола, какъ ребенка или какъ собаку, и сказалъ ей только два какихъ-то слова, и она ушла одна, какъ пришла. Но если бы видѣли, какъ она уходила.

Александра Павловна (смѣется).

Я представляю!

Анфиса (мрачно).

Мнѣ ее жаль.

Александра Павловна

(съ негодованіемъ).

Ее-то? Ты совсѣмъ... порѣшилась, Анфиса.

Татариновъ.

Скажу по правдѣ, и мнѣ ее жаль стало — ужъ очень гордо она пришла, и ужъ очень... жалко она ушла. И хотя Федоръ Ивановичъ былъ вполнѣ вѣжливъ...

(За окномъ тревожные голоса.)

Ниночка (въ окно).

Саша, ты здѣсь? Саша! — Саша, ты знаешь, Померанцевъ застрѣлился.

Александра Павловна

(хватаясь за грудь).

Ахъ, Господи, какой еще Померанцевъ?

Петя.

Мой товарищъ, гимназистъ. Онъ подъ Новый годъ у васъ былъ. Прямо въ сердце.

Татариновъ.

Да когда же это? Не больше часу, какъ я ушелъ изъ саду.

Ниночка.

Вы только что ушли, прибѣгаетъ Петя и говорить...

Александра Павловна.

Зайдите, Петя, расскажите.

Петя.

Не могу, Александра Павловна. Мы, гимназисты, рѣшили дежурить около него ночь.

Анфиса.

Петя, это онъ отъ любви?

Петя (поучительно).

Развѣ только любовь и есть на свѣтѣ, Анфиса Павловна? Есть и другіе проклятые вопросы.

Ниночка.

Онъ любви не признавалъ.

Анфиса.

Цвѣтовъ ему хорошихъ насобирайте. Цвѣтовъ...

Ниночка (плачетъ).

Мы и то всѣ розы въ саду обломали. И дядя Федя съ нами ломалъ.

Александра Павловна.

Какое мальчишество! А гдѣ же Федя сейчасъ?

Петя.

Онъ къ полицеймейстеру поѣхалъ.

Ниночка.

Онъ велѣлъ мнѣ около больницы его подождать. Я такъ только на минутку прибѣжала сказать. Мы сейчасъ съ нимъ пріѣдемъ.

Анфиса (уходящимъ).

Цвѣтовъ ему насобирайте.

Татариновъ (морщась).

Какая непріятность! И что дѣлается съ этой молодежи, экзаменъ онъ что ли не выдержалъ?

Александра Павловна.

А у меня сегодня точно предчувствіе какое-то...

(Анфиса горько плачетъ.)

Татариновъ.

Что съ вами, Анфиса Павловна? Да успокойтесь же вы.

Александра Павловна (недовольно).

Что это еще за комедія, Анфиса?

Анфиса.

Хорошо умереть молодымъ... (Плачетъ.)

Александра Павловна (всхлипываетъ).

Ну, вотъ ты и меня разстроила. Ужъ я такъ берегусь, чтобы не волноваться, а ты...

Анфиса.

Ну, ничего, ничего. Такъ вспомнилось. (Улыбается сквозь слезы.) Смѣшной мальчикъ. Любви не признавалъ, проклятые вопросы... Хорошо умереть молодымъ.

Татариновъ.

Да вотъ еще что! Очень важно! Я только что хотѣлъ рассказать, какъ пришли они и помѣшали. Дѣло касается Федора Ивановича и, боюсь, очень серьезно. Дѣло въ томъ...

Александра Павловна.

Ну, что же еще, Господи? Развѣ ужъ не мало того, что есть?

Татариновъ.

Когда мы съ Федоромъ Ивановичемъ проходили по террасѣ, намъ встрѣтился Ставровскій. И хотя съ того случая на судѣ они съ Федей, такъ сказать, не знакомы и руки другъ другу не подають, Федоръ просто изъ вѣжливости поклонился ему. И Ставровскій — не отвѣтилъ. Можетъ быть, не видѣлъ — не знаю. Но только Федоръ отвелъ меня въ уголъ, и говорить мнѣ спокойно, но самъ бѣлый, какъ бумага. И даже на вы. „Передайте, говорить, Ставровскому, что если въ слѣдующій разъ онъ не отвѣтитъ на мой поклонъ, — а я и въ слѣдующій разъ ему поклонюсь, — то мы будемъ драться, или же я просто убью его, какъ собаку“. Только вы, ради Бога, не передавайте Федору, что я рассказалъ.

Александра Павловна (растерянно).

Какъ же теперь?

Татариновъ.

Не знаю. Я, конечно, приму всѣ мѣры для того, чтобы уговорить Ставровскаго, но за успѣхъ не ручаюсь: онъ ужасно самолюбивый и навѣрно станетъ на дыбы. Главное, вы постарайтесь повліять на Федора Ивановича. Вы, Анфиса Павловна, имѣете на него такое большое вліяніе...

Александра Павловна.

Да, Анфиса, пожалуйста. Я умоляю тебя!

Анфиса.

Я не знаю... Конечно, я постараюсь. Успокойся, Сашечка!...

(Хочетъ погладить ее по плечу, но та явно уклоняется.)

Татариновъ.

Ну, надо бы идти. Посидѣлъ бы еще, да такъ меня разстроили всѣ эти исторіи, что едва на ногахъ держусь. Прощайте. (Изъ передней.) А бабушка-то еще не спитъ? Какъ шелъ, огонь у нея видѣлъ.

Александра Павловна.

Не спитъ. Она у насъ, какъ сова — всю ночь глаза раскрыты.

Татариновъ.

Прощайте.

Александра Павловна.

Прощайте. — Ну, и я пойду спать, тоже едва на ногахъ держусь. А ты еще не ляжешь?

Анфиса.

Нѣтъ, подожду.

Александра Павловна.

Можетъ быть, Федя не ужиналъ сегодня, такъ ты разбуди, пожалуйста, Катю и вели ей подогрѣть.

Анфиса.

Хорошо.

(Александра Павловна уходитъ.)

Анфиса.

Саша... Саша, ты не хочешь проститься со мной?

Александра Павловна.

Ахъ, прости, голубчикъ, забыла совсѣмъ. (Подходитъ и подставляетъ щеку.)

Анфиса.

Прощай. (Неловко цѣлуетъ подставленную неподвижную щеку.)

Александра Павловна.

Такъ не забудь про ужинъ.

(Анфиса остается одна. Проходитъ по комнатѣ, прислушивается у окна, потомъ подходитъ къ столу и при свѣтѣ лампы сосредоточенно и внимательно разсматриваетъ большой перстень на мизинцѣ лѣвой руки. Проходитъ кто-то подъ окномъ, насвистывая маршъ „Подъ двуглавымъ орломъ“. Анфиса перебираетъ клавиши на піанино. Садится и начинаетъ играть.)

Александра Павловна (изъ дверей).

Ты опять съ твоей музыкой, Анфиса. Конечно, я тебя понимаю, но пойми и ты, что здѣсь семейный домъ, и что уже всѣ спать, и что, наконецъ, я просто нуждаюсь въ покоѣ. Музыка, сантименты всякіе... становится прямо невыносимо.

(Анфиса, поднявшись, слушаетъ насмѣшливую, подъ конецъ грубую рѣчь сестры; потомъ ходитъ по комнатѣ и смѣется. Къ дому подъѣзжаетъ извозчикъ. Голосъ Федора Ивановича и звонокъ. Входятъ Федоръ Ивановичъ и Ниночка.)

Федоръ Ивановичъ (проходить).

А, это вы? Саша спитъ? Въ кабинетъ у меня огонь есть?

Ниночка.

Спокойной ночи, дядя Федя.

Федоръ Ивановичъ (ласково).

Спокойной ночи, дѣвочка.

(Уходитъ къ себѣ въ кабинетъ. Ниночка, словно не замѣчая Анфисы, также хочетъ уходить.)

Анфиса.

Ниночка.

(Та притворяется, что не слышитъ, идетъ.)

Анфиса (громче).

Ниночка, погоди минутку.

Ниночка (останавливаясь).

Ахъ, это ты? Что надо? Только, только... пожалуйста, поскорѣй, я очень устала сегодня, нездоровится...

Анфиса

(ласково, но нерѣшительно, съ мольбою въ голосѣ).

Вотъ что я хотѣла... Ну, какъ, тамъ, Расскажи. Бѣдный мальчикъ, мнѣ его очень жаль. Я, кажется, только разъ его видѣла вскорѣ по пріѣздѣ, но у меня осталось почему-то въ памяти его лицо. (Улыбаясь.) Я даже заплакала сегодня, когда узнала о его смерти.

Ниночка (холодно и недовѣрчиво).

Ты заплакала?

Анфиса (улыбаясь).

Почему же ты думаешь, что я не могу заплакать? Это такъ неожиданно и страшно и... мнѣ просто жаль его.

Ниночка.

Да, конечно. (Сурово.) Онъ былъ хорошій человекъ.

Анфиса.

Да, очень хорошій. И потомъ, Ниночка, у меня очень много своего горя, и я теперь... легко плачу.

Ниночка.

Да? Спокойной ночи, я устала.

Анфиса (съ боязливымъ упрекомъ).

Ты слышишь, Ниночка; у меня очень много горя и я... легко плачу. (Отворачивается.)

Ниночка.

Да, слышу. Спокойной ночи.

Анфиса.

Ты не хочешь даже со мною говорить? Скажи, что я сдѣлала тебѣ?

Ниночка.

Ничего.

Анфиса.

Такъ почему жъ ты такъ относишься ко мнѣ? (Строго.) Это нехорошо, Нина! Ты еще дѣвочка по сравненію со мной, ты еще ребенокъ совсѣмъ, наконецъ, ты моя сестра, и когда я иду къ тебѣ съ открытымъ сердцемъ, прошу хоть каплю участія, ты отворачиваешься. Вѣдь я такъ одинока, Ниночка.

Ниночка.

Ты? Ты одинока? (Смѣется.) Ахъ, Анфиса, какая ты... нехорошая!

Анфиса.

Ты не смѣешь такъ говорить!

Ниночка.

Зачѣмъ ты лжешь? Зачѣмъ ты говоришь о какой-то моей любви, о сочувствіи, о своемъ одиночествѣ? Вспомни, когда сама ты заговорила со мной, когда? Только вотъ сегодня.

Анфиса.

Когда я пріѣхала...

Ниночка (съ презрѣніемъ).

О, когда ты пріѣхала! Тогда ты была царицей, тогда ты была святая, тогда ты только о томъ и думала, чтобы доставить людямъ радость и — научить.

Это ты — учить! Да, когда ты пріѣхала, ты говорила со мною, и я чуть ли не полюбила тебя, какъ всѣ эти — обманутые.

Анфиса (сдерживая себя).

Ты еще дѣвочка! Ты еще не видѣла ни жизни, ни страданія, и ты уже смѣешь такъ осуждать. О, хорошая выйдетъ изъ тебя женщина, много радости дашь ты людямъ!

Ниночка.

А ты много ея дала?

Анфиса.

Ты не смѣешь такъ говорить со мной.

Ниночка.

Тише, дядя Федя услышитъ. (Смѣется.) Какъ ты испугалась! Ты не была такая трусливая, когда — пріѣхала.

Анфиса.

Смотри, Нина, не накликай на себя судьбу. Можетъ быть, и я теперь плачусь за то, что слишкомъ осуждала, и слишкомъ требовала много. Я обратилась къ тебѣ, какъ къ сестрѣ...

Ниночка.

Къ сестрѣ!.. Зачѣмъ ты лжешь, я не понимаю. Какая я тебѣ сестра? Развѣ такъ смотрять на сестру, какъ ты на меня все время смотришь? Ты, конечно, не видишь своихъ глазъ, но я то ихъ вижу. Я теперь боюсь темныхъ угловъ. Какъ темный уголь, такъ оттуда смотрять на меня твои глаза, смотрять

съ такою ненавистью, съ такой злобой... Я теперь во снѣ вижу твои глаза, и просыпаюсь отъ ихъ взгляда каждый разъ съ чувствомъ, что ты меня уже — убила.

Анфиса (грубо).

Ты съ ума сошла!

Ниночка.

Нѣтъ, я не сошла съ ума. Зачѣмъ ты носишь на пальцѣ ядъ?

Анфиса.

Это неправда.

Ниночка.

Опять лжешь: ты сама показывала, какъ открывается перстень. Зачѣмъ ты носишь на пальцѣ ядъ? Такъ дѣлають только — убійцы.

Анфиса.

Этотъ ядъ — для меня.

Ниночка.

Неправда. Для другихъ.

Анфиса (гнѣвно).

Для меня, я тебѣ говорю.

Ниночка.

Для тебя? Такъ почему же ты... не лежишь рядомъ съ Померанцевымъ?

Анфиса.

Нина. Что ты говоришь?

Ниночка.

Впрочемъ... онъ былъ честный.

Анфиса (въ ужасѣ).

Какъ ты жестока, Нина, какъ ты безумно жестока.

Ниночка

(берясь пальцами за виски).

Ахъ, ложь, ложь, ложь!

(Изъ кабинета выходитъ Федоръ Ивановичъ.)

Федоръ Ивановичъ.

Что это? Не спите еще?

Анфиса.

Да, такъ. Федоръ Ивановичъ, вы будете ужинать, я велю разогрѣть?

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ. Ниночка, дѣвочка, отчего ты не идешь спать? Бѣдная ты моя дѣвочка. (Цѣлуетъ ее.) Иди себѣ, дѣвочка, спи. У тебя глаза, какъ у молчанія въ лѣсу. (Къ Анфисѣ, вскользь.) Ты слыхала про гимназиста? (Къ Ниночкѣ.) Если бѣ я былъ твоей нянькой, я рассказалъ бы тебѣ тихую сказку о иныхъ счастливыхъ странахъ, гдѣ не убиваютъ ни себя, ни другихъ, гдѣ розами украшаютъ живыхъ, а не мертвыхъ. Золотыми снами обвѣялъ бы твое сердце, золотыми снами, какъ короной, увѣнчалъ бы твою головку... (Улыбается.) Если бы былъ твоей нянькой.

Ниночка (тихо).

Проводи меня до комнаты.

Федоръ Ивановичъ.

Боишься? Ну, идемъ, идемъ. Хочешь, на руки возьму?

Ниночка (покорно).

На руки — не надо.

(Уходятъ. Анфиса съ ужасомъ смотритъ имъ вслѣдъ, дѣлаетъ шагъ къ двери, куда они скрылись, но поворачивается и быстро ходитъ по комнатѣ, роняя мебель. Ломаютъ руки).

Федоръ Ивановичъ (входя).

Бѣдная дѣвчонка. Бѣдная дѣвчонка. Ты отчего не спишь, Анфиса? Пора. Ужинать я не буду. Прощай.

(Небрежно цѣлуетъ ее въ щеку и идетъ къ двери кабинета.)

Анфиса (хрипло).

И только?

Федоръ Ивановичъ.

А что же еще? Надо спать.

Анфиса (хрипло).

И только?

Федоръ Ивановичъ (мягко).

Я усталъ. Сегодня у меня очень тяжелый день.

Анфиса.

Отчего же ты мнѣ не расскажешь про твой тяжелый день? Ты уходишь, отчего же ты не зовешь меня къ себѣ?

Федоръ Ивановичъ.

Къ себѣ, сегодня? (Сурово.) Ты забыла про смерть.

Анфиса.

Что? (Понимаетъ.) Какая гадость. Какая гадость. И только это ты могъ подумать. (Быстро ходить по комнатѣ, заламываетъ руки.) Федоръ, я больше не могу. Федоръ, что ты дѣлаешь со мной? Я больше не могу.

Федоръ Ивановичъ (неохотно садится).

Ну, что еще такое, Анфиса. Говори. Который часъ? Но только не лучше ли отложить до завтра? Пожалуйста. (Закрываетъ глаза рукой.) Вѣдь я видѣлъ его, Анфиса. И у меня сейчасъ передъ глазами это маленькое, желтое, восковое лицо, лицо безбородаго мальчишки, который вдругъ осмѣлился стать мужемъ. Какъ онъ смѣлъ?

Анфиса (тихо).

Федоръ, я больше не могу.

Федоръ Ивановичъ (встаетъ и ходитъ).

Какъ онъ смѣлъ? Взялъ и сдѣлалъ то, о чемъ мечтаетъ каждый человѣкъ... да, хоть разъ въ жизни, но каждый изъ насъ мечталъ о самоубійствѣ. И всѣ мы стали маленькіе, а онъ выросъ, какъ гигантъ, гигантской тѣнью легъ надъ нами, и мертвыми глазами смотреть прямо въ душу. Чего онъ смотреть? Что я ему отвѣчу? Ну, конечно — мы, живые, принесли ему цвѣтовъ... какихъ-то красныхъ розъ, травы, и даже вѣтокъ — мы рвали въ темнотѣ. И я рвалъ. И они, эти испуганныя и торжествующія дѣти, они больше не уважали меня — они уважали только его. Ну... ты не слушаешь меня.

Анфиса.

Федоръ, скажи: ты уже больше не любишь меня?

Федоръ Ивановичъ.

Ахъ, Анфиса. (Вздыхаетъ и садится.) Ну, люблю. Ну, что случилось, говори. Только лучше бы... не надо, Анфиса.

Анфиса.

Ты помнишь, Федоръ, что ты обѣщаль, когда я отдавалась тебѣ? Что больше ты не будешь близокъ съ женой — ты помнишь?

(Федоръ Ивановичъ утвердительно киваетъ головой.)

Анфиса.

Я рада. Значить, это неправда, что третьяго дня ночью ты былъ у нея?

Федоръ Ивановичъ (медленно).

Нѣтъ, правда. Былъ.

Анфиса (хватаясь за шею).

Да, былъ? А я думала, что она солгала... Значить, правда: былъ. Кто же я теперь, Федоръ? Ты назваль меня женой — жена или любовница?

Федоръ Ивановичъ.

Зачѣмъ такъ рѣзко? Я этого не говорю.

Анфиса.

Не говоришь? И ты знаешь, какъ они относятся ко мнѣ — всѣ, всѣ, эта добрая Саша, эта чистая дѣвочка, которой ты хотѣлъ навѣять золотые сны? Меня травятъ, меня преслѣдуютъ на каждомъ шагу, меня грызутъ, какъ собаку, забѣжавшую на чужой дворъ. Нянька не пускаетъ меня въ дѣтскую, меня презираетъ Катя, твой кучеръ Еремѣй фамиллярничаетъ

со мной... а я? Верчусь, улыбаюсь, глотаю отравленный хлѣбъ — ты видѣлъ, какъ Саша подаетъ мнѣ тарелку за обѣдомъ.

Федоръ Ивановичъ (холодно).

Да, видѣлъ. И... удивлялся.

Анфиса.

Чему?

Федоръ Ивановичъ.

Что ты не возьмешь эту тарелку и не бросишь въ голову Сашѣ.

Анфиса.

Ты этого хочешь? Да? Говори, ты этого хочешь?

Федоръ Ивановичъ.

Тише. Я знаю только одно, что ты этого — не можешь. И нельзя ли, пожалуйста, Анфиса, безъ крика и вообще безъ этихъ... супружескихъ сценъ. (Мягко.) Я прошу тебя, Анфиса. Я сегодня усталъ и кромѣ того... (Сдержанно, волнуясь.) Одинъ негодяй оскорбилъ меня. Конечно, это пустяки.

Анфиса.

Да, я знаю. Ставровскій. И онъ былъ правъ.

Федоръ Ивановичъ

(угрожающе, но все еще сдержанно).

Анфиса. Я прошу тебя...

Анфиса.

Да, да, онъ былъ правъ. И, вѣроятно, это было очень красиво, когда ты поклонился, а онъ...

Федоръ Ивановичъ (поднимаясь).

Я ухожу.

Анфиса (кричить).

Нѣтъ, нѣтъ.

Федоръ Ивановичъ.

Чего ты хочешь? Ты сама не понимаешь, что ты говоришь. Онъ былъ правъ. Господа, которые просто завидуютъ мнѣ, господа, которые не могутъ переварить того, что я зарабатываю десятки тысячъ, что публика устраиваетъ мнѣ оваціи...

Анфиса (почти невольно).

Тебѣ кричали: вонъ!

Федоръ Ивановичъ (медленно).

Да? Спокойной ночи, Анфиса.

Анфиса.

Федя. Я не буду, постой. Не уходи. Я не знаю, что я говорю. Но я такъ несчастна, такъ несчастна. Господи, что вы всѣ дѣлаете со мной?

Федоръ Ивановичъ.

Мнѣ... надоѣло это. Чего ты хочешь, Анфиса? Ты хочешь правды, да?

Анфиса.

Да... если только ты можешь... сказать правду.

Федоръ Ивановичъ.

Если только могу? (Грубо.) Ну, такъ ты мнѣ — не нужна. Понимаешь, просто не нужна.

Анфиса (блѣднѣя).

Такъ говорятъ только прислугѣ.

Федоръ Ивановичъ.

Ахъ, оставь эти жалкія слова! Вообще, зачѣмъ ты лжешь? Зачѣмъ ты солгала мнѣ про свою гордость — ты вовсе не горда. Зачѣмъ ты солгала мнѣ про какую-то недоступность — ты доступна, какъ и всѣ. Помню, какъ я бѣгалъ по саду, по колѣна въ снѣгу, безъ шапки и звалъ тебя, а ты сидѣла тамъ, въ углу, съ этимъ ничтожествомъ. Какъ еще тогда я не понялъ тебя.

Анфиса.

Федоръ, ты раскайшься въ томъ, что говоришь.

Федоръ Ивановичъ (смѣется).

Любовница!.. Ну, да, любовница. Я хотѣлъ, чтобы ты стала женою, а ты сумѣла стать только любовницей... какъ всѣ эти Саши, Лизы...

Анфиса.

Такъ. Только любовницей? Что же мнѣ было дѣлать, скажи.

Федоръ Ивановичъ.

Не знаю.

Анфиса.

Нѣтъ, ты скажи! Ты не прячься! Что же мнѣ было дѣлать, ну, говори!

Федоръ Ивановичъ.

Почемъ я знаю, что должна дѣлать женщина, которую я люблю? Этому не учать.

Анфиса.

Нѣтъ, скажи! Ты теперь не имѣешь права молчать. Что я не бросила въ голову тарелкой этой несчастной, беременной женщинѣ, да? Что изъ любви къ тебѣ я унижалась, терпѣла плевки, разучилась краснѣть, ненавидѣла себя, да? Что я вѣрила въ твое благородство, въ твое пониманіе, въ твою мужскую силу, въ твою честность?..

Федоръ Ивановичъ.

Постой. А зачѣмъ... а зачѣмъ ты солгала мнѣ про этого офицера въ Смоленскѣ? Ты говорила, что не было ничего...

Анфиса (глухо).

То былъ мой позоръ. То была ошибка, за которую я наказана.

Федоръ Ивановичъ (насмѣшливо).

И ты боялась, что я не пойму ошибки? И это ты называешь — вѣрила въ меня? Ахъ, Анфиса, зачѣмъ ты лжешь? Этотъ офицеръ бросилъ тебя?

Анфиса.

Нѣтъ. Но онъ оскорбилъ меня.

Федоръ Ивановичъ (медленно).

Зачѣмъ же ты не убила его, Анфиса? Ты должна была его убить. Зачѣмъ же тогда (съ презрѣніемъ поднимаетъ руку Анфисы, на которой перстень, и снова бросаетъ ее) ты носишь это?

Анфиса.

Тогда я еще не носила.

(Федоръ Ивановичъ смѣется.)

Анфиса (съ удареніемъ).

Тогда я еще не носила этого.

Федоръ Ивановичъ.

А теперь носишь? Не страшно, Анфиса.

Анфиса.

Ты смѣешься?

Федоръ Ивановичъ.

Смѣюсь. Уѣзжай, Анфиса.

Анфиса.

Ты... ты просто — негодай.

(Плачетъ, закрывъ лицо руками. Молчаніе.)

Федоръ Ивановичъ.

Скажите это при всѣхъ, Анфиса Павловна, и я вамъ повѣрю... Уѣзжайте.

Анфиса (сдерживая слезы).

Я не уѣду.

Федоръ Ивановичъ.

Да? Останетесь?

Анфиса.

Да. Останусь. Вы сказали: когда Саша родить, я уѣду съ тобой. Вы были гуманны, вы не хотѣли тревожить вашей беременной жены...

Федоръ Ивановичъ (гнѣвно).

Опять ложь! Это вы твердили о ея беременности, это вы требовали прятокъ, темноты...

Анфиса

(съ притворной кротостью).

Вы можете меня ударить. Вѣдь вы — сильнѣе.

Федоръ Ивановичъ.

Молчать!

Анфиса.

Тише, васъ услышитъ беременная жена.

Федоръ Ивановичъ (тяжело дыша).

Будеть. Оставайтесь, если хотите. Я иду спать.
(Встаетъ.)

Анфиса

(еще не вѣря, что онъ уходитъ).

Побудьте со мной еще одну минуту.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ.

Анфиса (пугаясь).

Одну только минуту. Я еще не все сказала.
Одну только минуту.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ.

Анфиса.

Пожалѣй меня. Ахъ, Боже мой, ей ты хотѣлъ навѣять золотые сны, неужели меня... меня... такую, ты оставишь одну. Прости меня.

Федоръ Ивановичъ.

Ложь!

Анфиса.

Федя, пожалѣй меня. Одну минуту... минуточку...

Федоръ Ивановичъ (идетъ).

Ложь!

Анфиса (въ изступленіи).

Федоръ, если ты уйдешь, я сейчасъ убью тебя.

Федоръ Ивановичъ.

Этимъ ядомъ, что на пальцѣ? Ложь, ложь, ложь.

(Идетъ, не оглядываясь, къ двери. Анфиса слѣдуетъ за нимъ, тянется къ нему руками, но не смѣетъ коснуться.)

Анфиса.

Федя... Федоръ... Это безбожно! Пожалѣй меня... я умираю. Федя, неужели ты оставишь меня? (Федоръ Ивановичъ молча открываетъ двери кабинета, молча отстраняетъ отъ себя Анфису и уходитъ. Щелкаетъ ключъ).

Анфиса

(падая на колѣни передъ глухою дверью).

Федя, Федя, пожалѣй ты меня. Этого не можетъ быть. (Тихонько стучитъ пальцемъ въ дверь.) Федя, Федоръ Ивановичъ, пустите. Вы не слышите? Федя. Ай, я боюсь! Ай, я одна! Мнѣ же некуда пойти, Федя. Мнѣ же некуда пойти. Пожалѣй же ты меня...

(Въ слезахъ падаетъ на полъ.)

З а н а в ѣ с ѣ.

Третье дѣйствіе.

Третье дѣйствіе.

Вечеръ. Крестины. На сценѣ столовая Костомаровыхъ. Идутъ послѣднія приготовленія къ ужину, который будетъ тотчасъ послѣ того, какъ совершится обрядъ. Около стола хлопочутъ горничная Катя и для этого вечера приглашенный лакей, грязноватый человѣкъ съ небритой физіономіей. Самыя крестины происходятъ въ дѣтской, за комнату отъ столовой; и оттуда доносится говоръ многихъ голосовъ, изрѣдка.

Въ комнатахъ очень свѣтло и какъ будто весело.

При открытіи занавѣса въ столовой только двое: Федоръ Ивановичъ, который сосредоточенно шагаетъ по комнатѣ, заложивъ руки подъ фалды фрака, и Татариновъ. Послѣдній стоитъ въ угрюмо-укоризненной, но въ то же время нѣсколько просительной позѣ, и медленно ворочаетъ головой въ направленіи шагающаго, повидимому, неслушающаго, Федора Ивановича. Оба адвоката во фракахъ со значками.

Татариновъ.

Федя, я увѣряю тебя, что ты не имѣешь права такъ относиться къ своему здоровью. Ты слышишь?

Федоръ Ивановичъ.

Слышу.

Татариновъ.

А главное къ своему таланту, который начинаетъ блекнуть и терять краски, Федя.

Федоръ Ивановичъ.

Ты это видишь?

Татариновъ.

И не только я, но и другіе видятъ. Федоръ, послушай меня. Ну, если бы ты былъ прирожденнымъ алкоголикомъ, какъ этотъ... Розенталь, я оставилъ бы тебя въ покоѣ: пей и погибай! Но вѣдь ты здоровѣйшій человѣкъ, и весь твой родъ...

Федоръ Ивановичъ.

Надоѣло. Оставь! И я вовсе не пью такъ много, чтобы стоило изъ-за этого поднимать шумъ. Какъ все это нелѣпо!

Татариновъ (угрюмо).

Играешь въ карты.

Федоръ Ивановичъ.

Да, играю. Здѣсь можешь и не беспокоиться: я всегда выигрываю.

Татариновъ.

Что же хорошаго? Ты выигрываешь, значить, кто-нибудь проигрываетъ. Ты, можетъ быть, думаешь, что все это геройство, а по-моему — только безхарактерность. Хотя бы эта печальнѣйшая исторія со Ставровскимъ...

Федоръ Ивановичъ.

Тебѣ не нравится?

Татариновъ (морщась).

Ахъ, Федоръ Ивановичъ, Федоръ Ивановичъ! Вѣдь ты же не думаешь того, что говоришь! И я вообще не понимаю, какъ ты, Федоръ Ивановичъ, съ твоимъ высокимъ понятіемъ о личности, съ твоимъ, наконецъ, огромнымъ талантомъ, могъ опуститься до того, чтобы ударить человѣка...

Федоръ Ивановичъ.

Я хотѣлъ посмотрѣть, какъ поступить Ставровскій.

Татариновъ.

Ну, и что же?

Федоръ Ивановичъ

(пожимая плечами).

Ничего.

Татариновъ.

А по-моему онъ былъ совершенно правъ, что прибѣгъ къ защитѣ закона, а не кулаковъ. Мы, какъ носители...

Федоръ Ивановичъ.

Который часъ? Надоѣло, Иванъ Петровичъ, оставь. Сто разъ слышалъ!

Татариновъ.

А вотъ тебя исключать!

Федоръ Ивановичъ.

И это слышалъ.

Татариновъ.

Федя, подумай о женѣ.

(Александра Павловна, нѣсколько разъ выглядывавшая изъ двери и слушавшая разговоръ, предостерегающе указываетъ Татаринову на мужа, просить, чтобы замолчалъ. Бойтся.)

Федоръ Ивановичъ (останавливаясь)

Ну? Что еще тамъ про жену?

Татариновъ.

Да, такъ, ничего. Ну, знаешь, какъ по обыкновенію...

Федоръ Ивановичъ (морщась).

Ахъ, и надоѣлъ же ты мнѣ! И почему я до сихъ поръ тебя терплю, не понимаю. Такъ, заодно ужъ должно быть съ остальнымъ.

Александра Павловна

(умышленно громко).

Катя, — сколько же тутъ приборовъ, ты сосчитай. Ты считать умѣешь?

(Подходить къ мужу и кладетъ ему руку на плечо. Тотъ недовольно останавливается. Александра Павловна еще не совсѣмъ поправилась послѣ родовъ, похудѣла, улыбается томною, нѣсколько жалкою улыбкой.)

Федоръ Ивановичъ.

Ну, что ты? Скоро тамъ?

Александра Павловна.

Такъ, немного приласкаться захотѣлось . устала. Да, вообрази, какая исторія, Федя: забыли подогрѣть воду, попробовала я рукой — она, какъ ледъ. Прямо заморозить хотѣли ребенка.

Татариновъ.

Надо подлить кипятку.

Александра Павловна.

Подливаютъ! Да развѣ скоро ее нагрѣешь: купель такая, что взрослый утонуть можетъ. А священникъ уже пріѣхалъ, ждетъ, такъ неловко. Вы же никуда далеко не уходите, Иванъ Петровичъ... А ребенка вы не уроните.

Татариновъ.

Постараюсь. (Въ недоумѣніи качаетъ головой.) Вотъ странно: членъ совѣта присяжныхъ повѣренныхъ, и вдругъ какой-то кумъ — это все ваши прихоти, Александра Павловна.

Александра Павловна.

Молчите, молчите. (Робко.) Федичка, а ты не пойдешь туда?

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ. Не люблю. Я уже говорилъ.

Александра Павловна.

Ну, пожалуйста, ну, голубчикъ! Я прошу тебя. Вѣдь это нѣсколько минутъ, ты хоть въ дверяхъ постой.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, нѣтъ. Да не огорчайся же ты, пожалуйста. Вѣдь это же невозможно, изъ-за каждаго пустяка слезы, истерики.

Александра Павловна

(улыбаясь сквозь слезы).

Да я ничего, что ты? И какія у меня истерики, что ты говоришь? — это я-то истеричка! Иванъ Петровичъ, послушайте... а вы танцовать будете? Кому необходимо танцовать

(Быстро входитъ Розенталь.)

Розенталь.

Александра Павловна, зовутъ!

Александра Павловна.

Ахъ, Боже мой, сейчасъ, сейчасъ! Не скучай тутъ, Федя, пусть Розенталь побудетъ съ тобой.

(Уходитъ, въ дверяхъ встрѣчается съ Анфисой. Очень осторожно обходить ее, подбирая платье такъ, чтобы не коснуться.)

Анфиса.

Дайте мнѣ воды, Катя.

Катя.

Сами возьмите. Вонъ стоитъ.

Розенталь (очень вѣжливо).

Васъ также ждуть, господинъ Татариновъ.

Татариновъ

(строго смотреть на него и проходить).

Помни же, Федя.

Федоръ Ивановичъ.

Анфиса, ты куда — посиди съ нами.

Розенталь.

Вѣрно, Анфиса Павловна, посидите-ка лучше съ нами. Кстати, мнѣ нужно устроить нѣкоторый консилиумъ.

Анфиса (улыбаясь).

Вы больны?

Розенталь.

Опасно. Денегъ нѣтъ.

(Всѣ трое садятся на большой турецкій диванъ. Анфиса отодвигается нѣсколько къ краю.)

Розенталь.

Ты, Федоръ Ивановичъ, какъ психологъ, вы же, Анфиса Павловна, просто какъ умнѣйшая женщина — помогите мнѣ вашимъ компетентнымъ совѣтомъ. (Смотритъ на лакея, внезапно.) Постой, что это за рожка? (Вскакиваетъ и подходитъ къ лакею.) Алексѣй?

Федоръ Ивановичъ (тихо).

Анфиса.

(Анфиса не отвѣчаетъ.)

Лакей.

Такъ точно, Алексѣй.

Розенталь.

Изъ Шато-Флери? Давно ушелъ?

Лакей.

Такъ точно-съ, два года.

Розенталь.

Съ тѣхъ поръ не брился? Но какая память, чортъ возьми. (Радостно.) Федя, ты узналъ эту рожу? Вѣдь это Алексѣй, изъ Шато-Флери. Помнишь?

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ.

Розенталь.

Должно быть, проперли за пьянство, и фракъ у него на-прокатъ. погоди, о чемъ я началъ говорить, забылъ?

Федоръ Ивановичъ.

Послушай, Андрей Ивановичъ, будь другъ, принеси мнѣ папиросы изъ кабинета. Кажется, на столѣ оставилъ портсигаръ, а если нѣтъ, то посмотри въ шкафу.

Розенталь.

Знаю. Эхъ, и до чего же тебѣ нужно побриться, Алексѣй.

(Уходитъ. Катя возится у стола и искоса поглядываетъ на тихо разговаривающихъ Федора Ивановича и Анфису.)

Федоръ Ивановичъ.

Отчего ты такъ смотришь на меня, Анфиса? Мнѣ больно отъ твоего взгляда.

Анфиса.

А какъ же мнѣ иначе смотрѣть? Научи.

Федоръ Ивановичъ.

У меня тоска, Анфиса.

Анфиса (равнодушно).

Да?

Федоръ Ивановичъ.

Ты не хочешь говорить со мной? Это не хорошо — почему ты такъ измѣнилась, Анфиса? Мнѣ больно, у меня тоска, а ты оставляешь меня.

Анфиса.

Я почти не вижу тебя. Ты совсѣмъ не бываешь дома.

Федоръ Ивановичъ.

У меня много работы сейчасъ, ну, и... Ты больше не любишь меня, Анфиса?

Анфиса (улыбаясь).

А ты?

Федоръ Ивановичъ.

Со мной дѣлается что-то странное. У меня уши точно заложены ватой... говорятъ, а я ничего не слышу. Что-то кривое забралось въ мою жизнь. Третьяго дня за пощечину Ставровскому меня исключили изъ членовъ клуба. А скоро исключать, должно быть, изъ сословія. Въ карты играю, пью.

Анфиса.

Напрасно.

Федоръ Ивановичъ (морщась).

А тутъ этотъ Татионовъ... Ахъ, нѣтъ ничего хуже порядочныхъ людей! Ходить вокругъ меня и со всѣхъ сторонъ конопатить, какъ дырявый домъ, только и слышно, какъ деревянной колотушкой постукивается... Ты улыбаешься, напрасно. Въ томъ, что я говорю, смѣшного нѣтъ.

Анфиса.

Мелко это, Федоръ Ивановичъ... и мучительно.

Федоръ Ивановичъ.

Мелко? Прежде вы иначе думали, Анфиса Павловна. И зачѣмъ громкія слова? Скажи просто: злюсь, потому что люблю, а онъ не любитъ. (Смѣется, потягивается и громко говоритъ.) Ахъ, уѣхать бы отсюда.

Анфиса (улыбаясь).

Со мной?

Федоръ Ивановичъ (удивленно).

Какъ съ тобой?

Анфиса.

Да. Вѣдь я жду.

Федоръ Ивановичъ.

Ахъ да! (Улыбается.) Все еще ждешь? Представь себѣ, я и забылъ. Неужели ты это серьезно — и такъ-таки и ждешь?

Анфиса.

Жду.

Федоръ Ивановичъ.

И думаешь, что я съ тобой поѣду? Куда же это, въ Америку, на Сандвичевы острова?

Анфиса.

Можетъ быть, и поѣдешь.

Федоръ Ивановичъ (грубо).

Нѣтъ. Никуда я съ тобой, Анфиса, не поѣду. (Смѣется.) Впрочемъ, подожди еще годъ — можетъ быть, тогда и поѣду.

Анфиса (также смѣясь).

Что жъ, я бы и подождала. Но вѣдь — обманешь!

(Молчаніе.)

Федоръ Ивановичъ (раздраженно).

Катя, перестаньте гремѣть посудой. И, вообще, ступайте отсюда.

(Катя уходитъ.)

Федоръ Ивановичъ.

Опять улыбаешься. Не нравится мнѣ твоя улыбка — какую еще ложь приготовила ты, Анфиса? Ну-ка, взгляни на меня! Глаза у тебя правдивѣе, чѣмъ ротъ. (Смотрить и слегка отодвигается назадъ.) Такъ, такъ! Ахъ, сколько въ нихъ ярости! И страданія. Ярости и страданія. Какое странное сочетаніе... Пстой!

(Схватываетъ руку Анфисы и наклоняется близко, почти къ самымъ глазамъ.)

Анфиса (стараясь вырвать руку).

Пусти.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ!.. Я вспомнилъ, это было въ лѣсу. Я придавилъ камнемъ змѣю, маленькую ядовитую змѣйку. Не знаю, зачѣмъ, изъ какого-то страннаго любопытства, я легъ на землю и приблизилъ свои глаза къ ея глазамъ... Вотъ такъ.

Анфиса.

Пусти.

Федоръ Ивановичъ (удерживаетъ).

Вотъ такъ. И смотрѣлъ, и говорилъ съ нею, а она мнѣ отвѣчала. Я, кажется, переломилъ ей спинной хребетъ.

Анфиса.

Спинной хребетъ!

Федоръ Ивановичъ.

Да, да. Спинной хребетъ. И она умирала... какъ ты. И она хотѣла ужалить меня, но не могла... какъ

ты. А я шутилъ съ нею: посмотри, какъ хорошо въ лѣсу, какъ голубѣетъ небо, какъ камни горячи. Посмотри, какъ я близко къ тебѣ, поцѣлуй меня ядомъ твоихъ устъ — не можешь? (Нѣжно.) Ты умираешь, Анфиса?

Анфиса (съ трудомъ).

Нѣтъ.

Федоръ Ивановичъ.

У тебя переломлена спина. Ты умираешь? Въ сѣрый туманъ уходятъ твои глаза... ты умираешь?

Анфиса (выгибая шею).

Разбей мнѣ голову. Я умираю.

Федоръ Ивановичъ

(слѣдуя своими глазами за ея, тихо и нѣжно).

Нѣтъ. Ты ненавидишь меня, Анфиса? Въ твоихъ глазахъ загораются огни: зеленый, красный... и еще желтый... это безуміе, Анфиса? Ты умираешь, да? Тебѣ очень больно, скажи!

(Крѣпко сжимаетъ руку Анфисы, и та вскакиваетъ отъ боли. Федоръ Ивановичъ слегка отталкиваетъ ее и смѣется. Входящему Розенталю.)

Федоръ Ивановичъ.

Послушай, Розенталь. Я уговорилъ Анфису Павловну остаться у насъ еще на одинъ годъ. Ты радъ?

Розенталь.

Очень радъ. Только не перебивай меня, а то опять забуду. Да, портсигара тамъ нѣтъ, и папирось въ шкафу нѣтъ...

Федоръ Ивановичъ.

Портсигаръ у меня.

Розенталь.

Понимаю, просто продолжалъ дѣло при закрытыхъ дверяхъ. Но погоди, не сбивай. (Садится и беретъ за руки Федора Ивановича и Анфису.) Вотъ что, друзья мои — какія у васъ холодныя руки — я погибаю! Понимаешь: увѣчныя дѣла, довѣрительскія деньги...

Федоръ Ивановичъ.

Скверно! Быть тебѣ, Розенталь, въ острогѣ.

Розенталь (радостно).

Ага! Я и говорю, что погибаю. И вотъ что я придумалъ въ мои безсонныя ночи...

Федоръ Ивановичъ.

Возьми у меня. Сколько, рублей триста?

Розенталь.

Двѣсти. Нѣтъ. Никогда. Я беру займы только у враговъ. И вотъ вы понимаете, друзья мои, понимаете теперь эту блестящую мысль, которая лучезарнымъ свѣтомъ озарила мои безсонныя ночи. Кому я злѣйшій врагъ, кто ненавидитъ меня до родовыхъ схватокъ въ желудкѣ? — Татариновъ. Ergo — у кого я долженъ взять займы? — у Татарина. Во-первыхъ — какъ врагъ онъ долженъ быть великодушень, и именно по-человѣчески, съ открытой душою, я обращаюсь къ его великодушію, во-вторыхъ: у этой вегетаріанской жилы въ банкѣ на текущемъ

счета... ты знаешь, по ночамъ онъ воруетъ огурцы у сосѣдей... Батюшки, кончили, идутъ. (Тревожно.) Федя, какъ ты думаешь, голубчикъ, дастъ онъ?

(Входятъ Александра Павловна, Ниночка, гимназистъ Петя, какой-то молоденькій адвокатъ, по виду помощникъ, и Татариновъ. Послѣдній широко и смущенно улыбается.)

Александра Павловна.

Федя, Федя, поди, голубчикъ, на минуту! Батюшка уѣзжаетъ — нужно проститься. Какъ Алечка плакала, она совсѣмъ захлебнулась. А-а, ты здѣсь, Анфиса? О тебѣ все папаша справлялся.

Федоръ Ивановичъ (весело уходя).

Ну, идемъ, идемъ! Татариновъ, да не сіяй ты такъ нестерпимо!

(Анфиса медленно выходитъ. Ниночка провожаетъ ее холоднымъ и строгимъ взглядомъ.)

Розенталь (вслѣдъ Анфисѣ).

Шарлота Кор-р-де!

Ниночка (громко).

Она была — убійцей?

Татариновъ (улыбаясь).

Какъ это я, право? Ужасно странное ощущеніе.

Ниночка.

Но вы понимаете, что вы теперь мой кумъ, что вы уже никогда не можете на мнѣ жениться...

Татариновъ

(все такъ же улыбаясь).

Да я и не собирался... Нѣтъ, дѣйствительно, ужасно странное ощущеніе: оно такое маленькое.

Петя.

Вы держались молодцомъ, Иванъ Петровичъ.

Адвокатъ.

Нужно отдать справедливость: вы съ честью выпили изъ крайне затруднительнаго положенія. Когда вы хотѣли взять младенца за ноги, я дѣйствительно нѣсколько испугался.

Татариновъ.

Ну, вотъ, я и ногъ у него не видалъ.

Розенталь (скромно).

Это было обходное движеніе.

Адвокатъ.

Когда же, какъ прирожденный жонглеръ, вы съ невѣроятной ловкостью обернули младенца вокругъ пальца, достали его откуда-то изъ жилетнаго кармана.

Ниночка (хохочетъ).

Но вѣдь, правда: онъ чуть не уронилъ его.

Розенталь (серьезно).

Господа, господа, здѣсь рѣшительно не надъ чѣмъ смѣяться. Господинъ Татариновъ, могу ли я просить васъ удѣлить мнѣ нѣсколько минутъ для короткаго... профессиональнаго разговора?

Татариновъ

(все еще улыбаясь, но строго)

Къ вашимъ услугамъ.

(Отходятъ въ сторону.)

Розенталь.

Господинъ Татариновъ, я знаю, что вы мой врагъ и ненавидите меня до... крайности. И я знаю, что другой на вашемъ мѣстѣ, менѣе дорожащій интересами гуманности, не обладающій, такъ сказать, широкою взгляда — тотъ просто послалъ бы меня къ чорту. Но ваше великодушіе, именно, какъ врага, обязываетъ васъ, такъ сказать... Не дадите ли вы мнѣ двѣсти двадцать-пять рублей ровно на двѣ недѣли? Раньше я, къ сожалѣнію, не могу... Сегодня у насъ пятница...

Татариновъ.

Четвергъ.

Розенталь.

Конечно, четвергъ. Такъ вотъ...

Татариновъ.

Нѣтъ.

Розенталь

(съ крайнимъ удивленіемъ).

Но почему же?

(Входятъ старики Аносовы и двое-трое гостей.)

Аносовъ.

Ну, слава тебѣ, Господи. И перекрестили и проводили, и никого не обидѣли. Кумъ-то гдѣ же?... Ну, и кумъ.

Розенталь.

Но почему же?

Татариновъ.

Нѣтъ.

Розенталь.

Вотъ странно... а я думаль, ей Богу думаль, что дадите.

Татариновъ.

Нѣтъ.

Аносовъ

(подходить и треплетъ Татаринова по плечу, отчего у послѣдняго появляется широкая улыбка).

Ну, куманекъ дорогой — выпьемъ за новорожденного. Только въ другой разъ не хватай ты такъ новорожденного, будто голодная собака кость. Дѣло его маленькое и бери ты его спрехвала.

(Въ столовую входятъ послѣдніе гости, приглашенные на крестины — всего гостей помимо родственниковъ человѣкъ десять — и съ ними Федоръ Ивановичъ, очень возбужденный. Онъ часто и очень громко смѣется; потомъ замолкаетъ и молчитъ глубоко, пока чья-нибудь шутка или вопросъ снова не вызоветъ въ немъ припадка неестественной и даже злобной веселости.)

Федоръ Ивановичъ.

Господа, прошу за столъ! Впрочемъ, одну минуту терпѣнія, я и позабылъ: хозяйка извиняется — она кормитъ дѣвочку и сейчасъ придетъ. Розенталь — выпьемъ мы съ тобой сегодня или нѣтъ, какъ ты думаешь?

Розенталь (мрачно).

Я думаю, что выпьемъ. (Тихо.) Наотрѣзъ отказалъ, подлець. Ну, и враги у меня.

Федоръ Ивановичъ.

Гдѣ Ниночка? Я хочу сидѣть съ нею. Отказалъ, ты говоришь? (Внимательно смотритъ на Розенталя.) А знаешь, голубчикъ, я только сейчасъ почувствовалъ это: ты напрасно беспокоишься — къ тебѣ необычайно пойдеть арестантскій халатъ.

Розенталь (обиженно).

Ну, вотъ еще — какія глупости!

Федоръ Ивановичъ

(злбно настаивая).

Нѣтъ серьезно. (Поворачиваетъ его и смѣется.) Удивительно пойдеть; какъ я раньше этого не замѣтилъ. Иванъ Петровичъ, знаешь, какое открытіе я совершилъ: къ Розенталю удивительно идетъ...

Розенталь (громко).

Федоръ Ивановичъ, послушай. (Умоляя.) Ну, зачѣмъ ты кричишь? Ты это говоришь по дружбѣ, а они могутъ воспользоваться въ своихъ интересахъ. Ты знаешь, сколько у меня враговъ...

Татариновъ (подходя).

Ты звалъ меня, Федоръ Ивановичъ?

Федоръ Ивановичъ

(удивленно вглядывается въ него и вдругъ хохочетъ).

Но это же изумительно, голубчикъ ты мой, Иванъ Петровичъ, вѣдь если тебя одѣтъ въ этотъ костюмъ, такъ, ей Богу, будетъ казаться, что ты такъ въ немъ и родился.

Татариновъ.

Какой костюмъ? Я и въ этомъ себя достаточно хорошо чувствую, а вотъ какъ ты, Федоръ, не знаю.

Розенталь (удовлетворенно).

Ловко! Это, братъ Федоръ Ивановичъ, намекъ, что значокъ-то у тебя... держится не крѣпко!

(Въ дверяхъ движеніе. Ниночка и Анфиса, поддерживая съ двухъ сторонъ подъ руки, ведутъ бабушку. Старуха одѣта парадно; идетъ очень медленно, но въ слабость ея почему-то не вѣрится, какъ и въ ея глухоту.)

Федоръ Ивановичъ (испуганно).

Что это? Зачѣмъ это? Зачѣмъ ее привели?

Веселые голоса.

А, бабушка! Смотрите — бабушка! Боже мой, до чего же она стара!

Аносовъ.

Вотъ такъ удивила старушка! А видъ имѣла такой, будто на вѣки-вѣчные къ креслу привинчена.

Федоръ Ивановичъ.

Зачѣмъ ее привели? Что это за нелѣпость? Ниночка, поди сюда.

Ниночка.

Сейчасъ, дядя.

(Старушку усаживаютъ на почетное мѣсто на концѣ стола. Мѣста за столомъ еще не заняты, и старуха нѣкоторое время сидитъ одна; и на мгновеніе кажется, что всѣ, кого она знала, кого любила, ненавидѣла и пережила, безшумно занимаютъ пустыя мѣста и вступаютъ съ ней въ бесѣду.)

Ниночка (подходя).

Ты что, дядя Федя? (Съ безпокойствомъ.) Отчего ты такой хмурый: тебѣ нездоровится?

Федоръ Ивановичъ.

Зачѣмъ вы привели ее сюда? Я же говорилъ, чтобы ее никуда не смѣли пускать изъ ея комнаты!

Ниночка (удивленно).

Ты про бабушку? Ну, что ты, дядя Федя, ты никогда этого не говорилъ.

Федоръ Ивановичъ.

А Анфиса?

Ниночка.

Что Анфиса? Анфиса и сказала, что бабушку нужно привести сюда, что это необходимо. И Саша тоже сказала — я тебя не понимаю.

Федоръ Ивановичъ (насмѣшливо).

А ты?

Ниночка (робко).

За что ты сердишься, дядя Федя? Вѣдь и на Вѣрочкиныхъ крестинахъ бабушка тоже приходила и сидѣла съ нами цѣлый вечеръ.

Федоръ Ивановичъ (недовѣрчиво).

Развѣ? Можетъ быть. Я и позабылъ. А все-таки, Нина, отъ тебя этого я не ожидалъ. Впрочемъ... (Смѣется.) Господа, за столъ. Хозяйка сейчасъ придетъ. И нельзя же старушку оставлять одну среди пустыхъ стульевъ, на которыхъ можетъ усѣсться...

чортъ знаетъ кто. Скорѣе занимайте мѣста. Нина, ты со мною сядешь. (Тревожно заглядывая ей въ глаза.) Ты мой другъ, Нина?

Ниночка

(пугаясь и почти плача).

Что съ тобой? Конечно, я твой другъ.

Федоръ Ивановичъ.

Вздоръ! — У меня нѣтъ друзей! — Папаша, пожалуйста, что же вы? Татариновъ, ты со мною!

Розенталь.

А я съ вами, Анфиса Павловна. Вашу руку. Вы слышали: отказалъ, подлецъ, наотрѣзъ. Что это вы такая мрачная?

Анфиса (улыбаясь).

Нѣтъ, я веселая.

Розенталь.

Ну, и слава Богу. Федька золь, какъ чортъ, и я...

(Всѣ весело разсаживаются. Анфиса съ Розенталемъ садятся почти напротивъ Федора Ивановича.)

(Шумъ. Входитъ Александра Павловна. Ее радостно приветствуютъ, пьютъ за ея здоровье.)

Федоръ Ивановичъ.

А мы опять съ тобой, Анфиса. Ты снова улыбаешься?

Анфиса.

Да, опять съ тобой. Я люблю смотрѣть на тебя, когда ты весель... какъ сегодня.

Федоръ Ивановичъ.

Это ты привела старуху?

(Взрывъ смѣха покрываетъ его дальнѣйшія слова.)

Розенталь (лакею).

Алексѣй, помнишь Шато-Флери?

Лакей.

Какъ же-съ?

Розенталь.

Помнишь, какъ мы тамъ... а?

Татариновъ.

Александра Павловна, надо мною всѣ смѣются.
Это ваша вина.

Александра Павловна

(улыбаясь слабо).

Вы были очаровательны.

Аносовъ.

А это не порядокъ, дочка: тебѣ нынче слѣдовало бы рядомъ съ мужемъ посидѣть. Конечно, дѣло твое хозяйское...

Александра Павловна.

Тамъ занято.

(Татариновъ и Ниночка дѣлаютъ нерѣшительныя попытки уступить ей свое мѣсто.)

Федоръ Ивановичъ.

Ни съ мѣста. Ей и тамъ хорошо, — вѣрно, Саша? Анфиса, твое здоровье. Господа! Позвольте вамъ

предложить выпить за здоровье моего лучшаго и самаго вѣрнаго друга... Анфисы Павловны.

(Всѣ пьютъ, чокаются съ Анфисой, но съ нѣкоторымъ холодомъ и недовѣріемъ. Анфиса очень серьезно поднимаетъ бокалъ, и только разъ слегка улыбается — это, когда Ниночка рѣзко, съ нескрываемой враждой отдергиваетъ свою рюмку. Федоръ Ивановичъ замѣчаетъ это, пренебрежительно треплетъ Ниночку по плечу, смѣется.)

Татариновъ.

Хотя я съ удовольствіемъ выпилъ за здоровье Анфисы Павловны, которую высоко цѣню и уважаю, но я хотѣлъ бы предложить болѣе соотвѣтствующій случаю тостъ. Господа!..

Розенталь.

Федя, Федоръ Ивановичъ, что же это такое? Я еще и рюмки, какъ слѣдуетъ, не выпилъ, а господинъ Татариновъ затягиваетъ уже рѣчь. Конечно, когда краснорѣчіе рвется наружу...

Федоръ Ивановичъ.

Вѣрно. Потерпи немного, Иванъ Петровичъ, и собери силы. Ты что это, содовую пьешь? Знаешь, въ этомъ есть что-то такое отвратительное, что лучше бы ты пилъ человѣческую кровь.

Татариновъ.

Скажи, пожалуйста, какой... Неронъ.

(Смѣхъ.)

Петя (слегка выпившій).

Какой великій артистъ погибаетъ.

Розенталь (съ пафосомъ).

Федя, нужно уважать чужія убѣжденія. Господинъ Татариновъ — вегетарианецъ. (Нагло хохочетъ.)

Петя.

Вегетарианство — лицемѣріе! За ваше здоровье, Нина Павловна!

Татариновъ (возмущенно).

Федоръ Ивановичъ, если вы не уважаете законовъ гостеприимства, то...

Федоръ Ивановичъ (брезгливо).

Оставь! Я же знаю, что ты мученикъ, и постоянно страдаешь разстройствомъ желудка, но убѣждений не продаешь.

Розенталь.

Вотъ еще! Да я и копейки не дамъ за такія убѣжденія. Куда ихъ потомъ дѣвать, ихъ моль съѣстъ.

Федоръ Ивановичъ.

Береги носовой платокъ, Анфиса. Розенталь, правда, что на твоихъ платкахъ разныя мѣтки?

Анфиса (презрительно).

Не обращайтесь вниманія, Андрей Ивановичъ, это — шутка.

Розенталь.

И очень глупая. Ваше здоровье!

Аносова.

А ты ужъ третью рюмку пьешь, старикъ. Эко, разгулялся!

Аносовъ.

И четвертую выпью. Феденька, слышишь, а мы съ тобой поравнялись теперь: у меня три дочки и у тебя три. Скажи, какая...

Розенталь.

Игра природы!

Аносовъ.

Ну, игра не игра, на все Божья воля, господинъ Розенталь. Только вотъ въ чемъ теперь недоумѣніе: какія дочери будутъ лучше — твои или мои?

Федоръ Ивановичъ

(съ явной насмѣшкой).

Ваши несомнѣнно лучше. Одна — красавица. Не смущайся, Саша, вѣдь это же правда. Другая (смотря на Анфису Павловну), другая... красавицей я бы ее не назвалъ — ты не обижаешься, Анфиса? — другая... умна, тверда, правдива.

Анфиса.

Не довольно ли, Федоръ Ивановичъ?

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, еще не довольно, Анфиса Павловна.

Аносова.

Довольно, довольно. Ты такое, Феденька, говоришь, что при постороннихъ даже неловко. Похвалилъ, ну, и будетъ. А то ужъ и намъ, родителямъ, некуда глазъ дѣвать.

Татариновъ.

Кстати, господа, разъ зашла рѣчь о дѣтяхъ. (Встаетъ.) Господа! Сегодня я имѣлъ честь въ качествѣ духовнаго отца держать на своихъ рукахъ маленькое существо, которое было дѣвочкой...

Розенталь.

Я думаю, и осталось.

Татариновъ.

Господа! Можетъ быть я дѣйствительно былъ плохой кумъ и скверно держалъ младенца, но, ей Богу, повѣрьте мнѣ: я чувствовалъ такой трепетъ, что могъ бы и совсѣмъ его уронить. Ей Богу! Я думалъ, вотъ сейчасъ прижимаю я къ моему фраку маленькую дѣвочку, такую маленькую, что даже и тяжести она не имѣетъ, — а что будетъ съ нею, когда она вырастетъ? И такъ грустно мнѣ стало, ей Богу! Вотъ сейчасъ ее крестятъ, приобщаютъ ее какъ бы къ нѣкому великому движенію человѣческой совѣсти, а вырастетъ она, и станутъ ее обижать. И кто же? Мы, тѣ самые мужчины, которые ее крестили, и, стало быть, куда-то душу ея звали.

(Насмѣшливые аплодисменты.)

Аносова.

Вѣрно, батюшка, — обижаютъ.

Аносовъ.

Ну, ужъ ты-то молчи! Подумаешь, обиженная.

Федоръ Ивановичъ.

А вѣдь это, Иванъ Петровичъ, дѣйствительно идея: дѣвочекъ крестить не надо.

Татариновъ.

Да я не о томъ, ты невѣрно меня понялъ.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, это ты самъ не понялъ, что ты сказалъ.

Розенталь.

Это у него часто бываетъ.

Федоръ Ивановичъ.

Оставь шутовство, Розенталь! Ты именно это и сказалъ; это и есть смыслъ всей твоей великолѣпной рѣчи: дѣвочекъ крестить не надо.

Аносова.

Скажи, какая немилость. Что жъ мы, насѣкомыя, что ли. Да насѣкомую и ту...

Федоръ Ивановичъ.

Если мы, мужчины, бываемъ скотами, то мы же бываемъ и людьми и творимъ Бога. А у женщинъ нѣтъ Бога, и всѣ женщины, плохія и хорошія, если кому угодно допускать это различіе — я его не знаю — всѣ женщины внѣ религіи. И крестить женщину — бессмыслица, злая шутка надъ нею же самой.

Голоса (возмущенно).

Неправда! Какой вздоръ! А мученицы?

Адвокатъ.

За Магометомъ первая пошла его жена.

Аносова.

Ну, за Мухаметомъ, тоже сказалъ. Одинъ другого лучше!

Петя.

Ренанъ говорить, что женщины создали Христа.

Федоръ Ивановичъ.

Вздоръ! Въ христіанствѣ, какъ и во всемъ, онѣ выѣли, выгрызли его идеалистическое ядро и оставили только скорлупу. Не обманывайтесь, господа. Въ самомъ христіанствѣ женщины остались язычницами и останутся ими навсегда.

Адвокатъ.

Язычество тоже религія.

Ниночка.

А мученицы, дядя? Вѣдь это неправда, онѣ умирали за Христа.

Федоръ Ивановичъ.

Но не за христіанство. Все это ложь, Ниночка.

Анфиса (блѣдная).

Вы распинаете женщину, Федоръ Ивановичъ.

Федоръ Ивановичъ.

А сами висимъ по бокамъ, какъ разбойники, не такъ ли? Справедливое распредѣленіе ролей! Господа, послушайте, какую трогательную картину изобразила намъ Анфиса Павловна...

Голоса.

Довольно! Довольно!

Анфиса.

Я прошу васъ не касаться меня, Федоръ Ивановичъ. Это плоско!

(Голосъ Анфисы настолько рѣзокъ, что всѣ смолкаютъ.)

Федоръ Ивановичъ.

Что вы изволили сказать, Анфиса Павловна?

Анфиса.

Я говорю, чтобы вы не смѣли касаться меня, Федоръ Ивановичъ.

Федоръ Ивановичъ (разваливаясь).

А если посмѣю и коснусь?

Анфиса.

То... вотъ вамъ. (Бросаетъ рюмку въ лицо Костомарову.) Подлецъ! Подлецъ! Подлецъ!

(Смятеніе. Многіе выскакиваютъ изъ-за стола. Только бабушка неподвижна и по виду совершенно безучастна.)

Федоръ Ивановичъ

(медленно вставая и вытирая салфеткой лицо).

Вы съ ума сошли.

Аносова.

Ай, батюшки, что же это такое!

Аносовъ (кричить).

Да ты что же это въ самомъ дѣлѣ, а? Ты съ ума сошла? Тебѣ шутки шутятъ, а ты...

Анфиса (топая ногой).

Молчите, папаша!

Александра Павловна.

Оставьте, оставьте, не трогайте ея.

Аносовъ.

Нѣтъ, не оставлю! Ей шутки шутятъ. Вонъ, вонъ отсюда, неблагодарная! Ей пріютъ дали, пріютили ее...

Анфиса.

Ахъ, да замолчите же, папаша! Развѣ вы не знаете... Господи, вѣдь это же всѣ знаютъ, что я любовница, любовница вотъ этого. Любовница, потерянная женщина, хуже уличной дѣвки... вотъ, вотъ я...

(Катя роняетъ тарелку и съ громкимъ плачемъ убѣгаетъ.)

Александра Павловна (кричитъ).

Это неправда! Она лжетъ, мерзавка! Это она хотѣла, а Федоръ Ивановичъ, Федоръ Ивановичъ...

(Смятеніе растетъ. Старикъ Аносовъ ничего не понимаетъ, задыхается, голова его дрожить.)

Аносовъ.

Чья любовница? Нѣтъ, ты прямо скажи! Ахъ, ты! Федька, заткни ей ротъ.

Аносова (плачетъ).

Жена она тебѣ или нѣтъ?

Анфиса.

Его спросите! Ахъ, безчестный же ты человѣкъ.

Федоръ Ивановичъ.

Ну да, это правда. Перестаньте кричать, папаша! (Къ Анфисѣ.) А ты... уходи вонъ.

Анфиса.

Я? Отсюда? Это мнѣ ты говоришь, ты, безчестный человѣкъ? Нѣтъ, ты уходи вонъ. Это мой домъ. Я слезами купила его, я горькой мукой его купила. Я кровь тутъ пролила. Это мой домъ! Я плакать здѣсь останусь. Я на колѣни стану передъ сестрой, передъ всѣми, кто презираетъ меня, кто ненавидитъ. Ахъ, убейте же вы меня. Я больше не могу. Саша, Саша...

Александра Павловна.

Вонъ отсюда. Проклятая!

Ниночка.

Бели ей замолчать, дядя Федя.

Федоръ Ивановичъ

(не глядя, отстраняетъ Ниночку рукой, смотреть на Анфису.)

Такъ вотъ ты какъ? Ну, ну! Не мѣшай, Нина.

Аносовъ (неразборчиво).

Дожилъ. Дожилъ... каждую копейку... Федька же ты, Федька!..

Розенталь

(суетъ Анфисѣ стаканъ съ водой).

Водички, водички, Анфиса Павловна. Это ничего, ну ихъ къ чорту.

Анфиса.

Саша... Саша... Ахъ, ну, что такое я, ну, что такое я? (Разводитъ руками.) Господи, раздавленная змѣя. Спину ей переломили, она умираетъ, да. А вотъ, а вотъ вы на него посмотрите! Вѣдь онъ же эту дѣвчонку, эту дѣвчонку... любовницей...

Федоръ Ивановичъ (громко).
Неправда! Неправда, Анфиса.

Аносовъ

(безтолково хватая за руки дочерей и толкая къ двери).

Молчи, Федька! Домой, домой. Чтобы ни минуты... въ этомъ проклятомъ домѣ... Сашка, иди!..

Александра Павловна (упираясь).
Не пойду! Это неправда! Она все выдумываетъ.

Аносовъ (топая обѣими ногами).
Сашка, проклянущу! Сашка, проклянущу!
(Большинство гостей уходитъ. Отъ Анфисы всѣ отодвинулись, и она стоитъ одна, закрывая лицо руками.)

Розенталь (не зная, что дѣлать).
Анфиса Павловна, ну, Анфиса Павловна.

Анфиса.
Стыдно. Стыдно. Стыдно.
(Ниночка плачетъ, ее уводитъ изъ комнаты гимназистъ Петя.)

Петя
(оборачиваясь, возмущенно).
Это чортъ знаетъ что такое! Вы мнѣ отвѣтите...
Негодяй!

Федоръ Ивановичъ (борясь со слезами).
И мнѣ стыдно. И мнѣ стыдно, Анфиса, голубчикъ ты мой. Ну, что жъ я стою, а? Что же я стою. Ахъ, чтобы чортъ васъ всѣхъ побралъ — вонъ отсюда! Вонъ! Чтобы духу вашего не пахло. Эй, ты, старая калоша, забирай своихъ, вонъ!

Аносовъ.

Что? Ты меня? Ахъ, ты сукинъ-сынъ.

Татариновъ.

Федоръ Ивановичъ...

Федоръ Ивановичъ.

А-а вы, друзья? Не искушай меня, Иванъ Петровичъ. Христомъ Богомъ прошу — уходи.

(Быстро идетъ къ Анфисѣ и крѣпко обнимаетъ ее.)

Федоръ Ивановичъ.

Анфиса.

Анфиса.

Какъ ты смѣешь? Оставь, я ударю тебя.

Федоръ Ивановичъ.

Ахъ, нѣтъ, Анфиса! Смотри, я ихъ выгналъ вонъ, смотри. Этотъ домъ — твой, Анфиса! Чтобъ чортъ ихъ всѣхъ побралъ! Анфиса!

Анфиса.

Ты лжешь, ты издѣваешься надо мною.

Аносовъ.

Что, что, что, это насъ-то? Сашка, Нинка. О, Господи, матушки мои. Охъ, до чего же я дожилъ.

Федоръ Ивановичъ.

Это твой домъ! А если ты выгонишь меня, я... я у порога лягу, я отъ двери не отойду, я въ окна стучать буду — открой, Анфиса. Развѣ ты не видишь — раскрылась душа моя! Прости меня.

Анфиса (слабо защищаясь).

Боже мой, Боже мой, что ты дѣлаешь со мною...
Уйди отъ меня, пожалѣй меня, Федя!

(Федоръ Ивановичъ обнимаетъ ее, цѣлуетъ и что-то шепчетъ.)

Александра Павловна.

Цѣлуетъ! Мамочка моя, мамочка, цѣлуетъ!

Аносова.

И пусть, и пусть, и пусть.

Аносовъ.

Живо, сію минуту... за извозчикомъ... Сашка, бери дѣтей... ни минуты... Тьфу!.. Прокормлю... старикъ... опять въ долги залѣзу... Господа кредитеры, войдите въ положеніе.

Татариновъ.

Идемте, Александра Павловна.

Александра Павловна.

Нѣтъ. Умру.

Розенталь (Татаринову.)

Она его рюмкой въ лицо, а онъ насъ выгоняетъ. Психологія! До-свиданія, Федя... (Тихо.) Ну, а близко не подойду. Укусишь! Психологія! (Окончательно развеселясь.) Великолѣпный скандалъ! Только теперь, навѣрно, калоши перемѣнили. (Радостно хохочетъ.) Мнѣ при каждомъ скандалѣ калоши мѣняють!

(Уходитъ. Старикъ Аносовъ, вопя и плюясь, выталкиваетъ въ дверь сперва жену, потомъ Александру Павловну.)

Аносовъ

(оборачиваясь, изъ двери).

Ты мнѣ отвѣтишь за это. Губернатору... Ахъ, ты сукинъ-сынъ, сукинъ-сынъ. Тьфу!

(Всѣ ушли. Остаются только Федоръ Ивановичъ съ Анфисой да бабушка, которая продолжаетъ сидѣть неподвижно за опустѣвшимъ столомъ.)

Анфиса.

Уйдемъ отсюда.

Федоръ Ивановичъ.

Да, уйдемъ. Но что было съ нами, Анфиса? Ты понимаешь это? Прости меня, если можешь.

Анфиса (тихо плача).

А ты... пожалѣй меня, если можешь, пожалѣй. Я одна, Федичка, и нѣтъ у меня заступниковъ, кромѣ тебя.

Федоръ Ивановичъ.

Ахъ, какъ стыдно. Боже мой, какъ стыдно! Что было со мной, гдѣ было сердце, гдѣ были глаза мои?

Анфиса.

Мнѣ страшно, Федя. Не нужно сегодня спать! Ты заснешь и опять все забудешь.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ. Все стало другимъ. Посмотри, какъ чисто, какъ свѣтло, Анфиса! (Видитъ старуху и пугается.) Анфиса, смотри, смотри! Это она, старуха! Зачѣмъ она здѣсь, сейчасъ? Я же всѣхъ выгналъ вонъ!

Забавѣсь.

Четвертое дѣйствіе.

Четвертое дѣйствіе.

Поздній вечеръ. Кабинетъ Федора Ивановича. На слѣдующій день Федоръ Ивановичъ и Анфиса уѣзжаютъ и въ комнатѣ полный безпорядокъ. Изъ письменнаго стола вынуты нѣкоторые ящики съ бумагами и стоятъ на креслѣ, на шкафу Цѣлая груда дѣлъ въ синихъ обложкахъ лежитъ на столѣ. Кое-гдѣ на креслахъ валяется платье Федора Ивановича, приготовленное для укладки; тутъ же на полу раскрытый чемоданъ.

За столомъ разбирается въ бумагахъ Татариновъ, которому Федоръ Ивановичъ, уѣзжая, сдаетъ всѣ свои дѣла. Самъ Федоръ Ивановичъ медленно прохаживается по комнатѣ и временами, остановившись, прислушивается къ музыкѣ — это въ сосѣдней темной комнатѣ играетъ Анфиса. Музыка очень печальна.

Татариновъ.

А довѣренность гдѣ?

Федоръ Ивановичъ.

Какая довѣренность?

Татариновъ.

Кузнецовская.

Федоръ Ивановичъ.

Да, тамъ же, въ дѣлѣ.

Татариновъ.

Въ дѣлѣ нѣтъ.

Федоръ Ивановичъ.

Ну, значитъ, въ столѣ. Посмотри въ лѣвомъ
ящикѣ.

(Молчаніе.)

Татариновъ.

Нашелъ. Она у тебя среди писемъ.

Федоръ Ивановичъ (равнодушно).

Ага!

Татариновъ.

А копіи съ постановленія суда такъ-таки и нѣтъ?

Федоръ Ивановичъ, ты мнѣ оказываешь большую честь, передавая мнѣ всѣ твои дѣла, но въ такомъ безпорядкѣ я принять ихъ не могу.

Федоръ Ивановичъ.

Завтра найдемъ.

Татариновъ.

Какъ членъ совѣта, дѣлаю тебѣ замѣчаніе.

Федоръ Ивановичъ.

Не сердись. Это я за послѣднее время запустилъ... Скажи еще спасибо, что не спился твой Федоръ Ивановичъ! Постой! (Останавливается и прислушивается.) Что она играетъ? Пѣсню безъ словъ? Да, да, пѣсню безъ словъ. Послушай, Иванъ Петровичъ: неужели музыка тебѣ не мѣшаетъ? Какъ ты можешь слушать то, что играетъ Анфиса, и копать въ бумагахъ? Станный ты человѣкъ. Когда всю эту дневную суету, наши нудные разговоры, дребезжанье извозничьихъ колесъ, шарканье по полу сапогъ — прорѣзаетъ аккордъ или только отрывокъ мелодіи, даже взятый неумѣлыми дѣтскими руками, онъ сразу и рѣшительно отрываетъ меня отъ земли. Какъ бы тебѣ это сказать? Какъ будто все остальное, и я самъ, и вся моя жизнь только нарочно, а правда и вѣчность, и я настоящій — здѣсь, въ звукахъ.

Татариновъ.

Рядомъ со мной, Федя, въ номерахъ живетъ музыкантша. Такъ если бы я при каждомъ аккордѣ отрѣшался отъ земли, меня давно бы изъ сословія поперли.

Федоръ Ивановичъ.

Помнишь мою рѣчь по дѣлу Казариновой? Какъ тогда плакали всѣ?

Татариновъ (съ гордостью).

Прокуроръ плакалъ!

Федоръ Ивановичъ.

Да, прокуроръ плакалъ. А знаешь, все это отчего? Оттого-что какъ разъ въ серединѣ моей рѣчи на дворѣ подъ окномъ заиграла шарманка. А когда я услышалъ ее, мнѣ вдругъ такъ стало жаль эту женщину и такимъ откровеніемъ встала передо мною вся ея печальная жизнь... (Останавливается.) Что она играетъ? Безъ словъ, безъ словъ, все она безъ словъ. (Мрачно.) Ты знаешь, она сегодня цѣлый день молчить.

Татариновъ (коротко).

Волнуешься. Ты бы ее, Федя, какъ-нибудь... того... пожалѣлъ. (Многозначительно.) Не нравится мнѣ все это. Не вижу я въ этомъ — дѣла. Ёдетъ человѣкъ, а куда, а зачѣмъ — самъ хорошенько не знаетъ.

Федоръ Ивановичъ.

Ёдетъ. (Радостно смѣется.) Да, да, ёдетъ. Ахъ, голубчикъ Иванъ Петровичъ, спасибо, что напомнилъ. Ты не смотри, что я весь вечеръ какъ будто невеселъ — сегодня утромъ я прыгалъ по дому, какъ мальчишка. Анфиса куда-то ушла, бабу, старого чорта, я заперъ на ключъ — вѣдь во всемъ домѣ насъ только трое, прислуга и та разбѣжалась — и былъ свободенъ, радостенъ и счастливъ, какъ никогда еще въ жизни. Даже озорничалъ, честное слово!

Взялъ и за какимъ-то чортомъ разбилъ статуетку. (Конфузливо смѣется.) Потомъ осколкомъ бросилъ въ прохожаго. Чортъ знаетъ что!

Татариновъ (со вздохомъ).

Ненадежный ты человѣкъ.

Федоръ Ивановичъ.

Оставь! Но вотъ, что странно: заглянулъ я въ дѣтскую съ нѣкоторымъ даже желаніемъ расчувствоваться, пролить слезу воспоминаній — и ничего. Понимаешь: смотрю на пустыя кровати — и ничего! Милыя онѣ дѣвочки, и я ихъ люблю, но... зачѣмъ я имъ нуженъ? Станный ты человѣкъ, Иванъ Петровичъ. Отчего ты не женишься?

Татариновъ.

Время прошло.

(Въ сосѣдней комнатѣ молчаніе.)

Федоръ Ивановичъ.

Сегодня она весь день молчитъ. Ты любишь сумерки, Иванъ Петровичъ?

Татариновъ.

Не мѣшай. Сейчасъ кончу.

Федоръ Ивановичъ.

Прежде я любилъ сумерки. Но сегодня... мнѣ вдругъ такъ жалко стало уходящаго солнца, что захотѣлось бѣжать за нимъ, бѣжать, бѣжать, чтобы только не выходить изъ-подъ его свѣта. Оно заходило, а съ другой стороны — сегодня, кажется, я уви-

дѣлъ ея лицо — встала ночь. И еще далеко была она, а тутъ... вдругъ потемнѣло подъ диваномъ. Вдругъ расплылась дверь, какъ будто ночь прошла сквозь нее. Вдругъ пропали часы и стрѣлки на циферблатѣ... Не люблю я нашего дома, Иванъ Петровичъ. Сегодня онъ пустой, какъ гробъ, который ждетъ своего покойника.

Татариновъ.

Ну, и сравненіе! Самъ всѣхъ разогналъ, а теперь жалуешься.

(Анфиса снова играетъ.)

Федоръ Ивановичъ (быстро ходить).

Завтра, значить, ѣду въ Петербургъ.

Татариновъ.

Петербургъ, Петербургъ... а что ты будешь дѣлать въ Петербургѣ, хотѣлъ бы я знать.

Федоръ Ивановичъ.

Работать. На два года откажусь отъ практики и буду только работать. Это только вы, друзья, думаете обо мнѣ, что я лѣнтяй. А я умѣю работать, какъ никто изъ васъ. И вотъ, когда я научусь, сброшу съ себя этотъ несчастный провинціализмъ, жалкое адвокатское фразерство... я возьму большой уголовный процессъ. Пусть это будетъ о любви, о ревности, о чьей-то страшной смерти, о чьей-то печальной и темной душѣ. (Закрывая уши.) Ахъ, она мнѣ мѣшаетъ! Ты понимаешь, Иванъ Петровичъ, что это значить: взять въ руки человѣческій слухъ, взять въ руки его строптивую душу, его пугливую и не-

довѣрчивую совѣсть, взять его чувство красоты, великое чувство, которое одно является источникомъ всѣхъ религій, всѣхъ революцій и переворотовъ — и надъ всѣмъ этимъ утвердить свое я, свою волю и царственную мысль. (Смѣется.) Кто это сказалъ: пусть ненавидятъ, но покоряются?

Татариновъ.

Какой-нибудь генераль.

Федоръ Ивановичъ.

Не понимаешь ты этого, Иванъ Петровичъ. А я вотъ помню и не забуду, какъ тогда послѣ этихъ криковъ: вонъ, послѣ всей этой ненависти и даже отвращенія, которыя я вызвалъ, присяжные засѣдатели все-таки вынесли оправдательный вердиктъ! Помню, съ какой ненавистью глядѣлъ на меня старшина и какъ сквозь зубы прочелъ; „нѣтъ, не виновень“... Ахъ, она мнѣ мѣшаетъ!

Татариновъ.

Вотъ и еще квитанціи нѣту. Деньги внесены въ казначейство, а квитанціи нѣту. И потомъ разъ ужъ зашла объ этомъ рѣчь, я долженъ открыть тебѣ глаза на Розенталя.

Федоръ Ивановичъ.

Ну, что еще? Богъ тебя знаетъ, Иванъ Петровичъ, хоть бы ты курилъ... Попробуй! Отчего ты не женишься на самомъ дѣлѣ?

Татариновъ.

Я говорю серьезно, Федоръ Ивановичъ. Теперь ты уѣзжаешь, и я долженъ тебѣ это сказать. Ты

знаешь, что рассказываетъ этотъ Розенталь? Во-первыхъ, онъ рассказываетъ, что вчера тестъ наплеваль тебѣ въ лицо, а ты ему за это полбороды вырвалъ.

Федоръ Ивановичъ.

Осель!

Татариновъ.

А, во-вторыхъ... Ты помнишь эту сплетню относительно Пѣтуховскихъ капиталовъ? Ну, купчихи этой? Ты тогда рвалъ и металъ, какъ бѣшеный. Какъ это...

Федоръ Ивановичъ.

Неужели, Розенталь? Вотъ негодяй! Зачѣмъ ты раньше не сказалъ объ этомъ?

Татариновъ.

Скандала не хотѣлъ. Ну, вотъ и конецъ. Но только, Федя, завтра утромъ я опять приѣду къ тебѣ, еще часа на два работы осталось. (Конфузливо.) Что ты такъ смотришь на меня? Понравился я тебѣ?

Федоръ Ивановичъ.

Милый. Ну, отнесись ты къ словамъ моимъ, какъ къ словамъ друга, отбрось твое дурацкое самолюбіе — возьми ты, наконецъ, у меня денегъ

Татариновъ (краснѣя).

Нѣтъ, нѣтъ и не говори!

Федоръ Ивановичъ (нѣжно).

Вѣдь ты же ничего не ѣшь, чудакъ, вѣдь ты же арбузными корками питаешься. Ну, голубчикъ, ну,

пожалуйста! Обрадуй меня, вѣдь у меня же деньги шальные — ты знаешь!

Татариновъ

(краснѣя еще больше).

Ѣмъ я хорошо, это твой Розенталь вретъ. Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ. Федоръ Ивановичъ, ты и не говори мнѣ. Уйду и никогда больше не приду, хоть ты здѣсь умирай. Я на-дняхъ такое дѣло выигралъ...

Федоръ Ивановичъ (смѣется).

Ну, и врешь же ты!... Ну, ладно. Только не забудь, что въ случаѣ нужды... Больше не могу!

(Подходить къ темной двери гостиной и говорить довольно рѣзко.)

Анфиса! Сыграй, пожалуйста, что-нибудь другое. (Съ неудовольствіемъ.) Ты точно хоронишь кого-то!

(Молчаніе. Входитъ Анфиса, нѣсколько блѣдная отъ темноты, и молча цѣлуетъ Федора Ивановича.)

Федоръ Ивановичъ.

Ну, что, голубчикъ? Не хочешь играть? Ты что такая блѣдная, и глаза опять какъ будто подведены? Тебѣ нехорошо?

Анфиса.

Нѣтъ, хорошо. Вы скоро кончите?

Татариновъ.

Кончаемъ.

Федоръ Ивановичъ.

Посиди со мною, Анфиса. И руки у тебя холодныя. (Съ неудовольствіемъ.) Не люблю я холодныхъ

рукъ! Ну, что ты такъ смотришь? Это нехорошо, Анфиса. Тебѣ нужно радоваться, а ты и у меня радость отнимаешь.

Анфиса.

Нѣтъ, я радуюсь. Зачѣмъ сегодня приходила Ниночка?

Федоръ Ивановичъ.

Съ запиской отъ жены, то есть отъ-Саши. Я Ниночки не видалъ, мнѣ кучеръ записку передалъ. Пишетъ, чтобы я не оставлялъ ее. Странная у тебя сестра, Анфиса.

Анфиса.

Саша очень несчастна.

Федоръ Ивановичъ

(съ неудовольствіемъ).

Ну, конечно, несчастна. Всѣ вы несчастны, когда мужчина уходитъ отъ васъ. Ну, ну, не сердись! (Цѣлуетъ.) Я шучу.

Анфиса.

Отъ твоихъ шутокъ бываетъ больно. Иногда онѣ такъ похожи на правду... Вѣдь ты же самъ радуешься, когда ихъ принимаютъ за правду.

Федоръ Ивановичъ (смѣясь).

Какіе пустяки. Ты не вѣришь мнѣ?

(Анфиса гладитъ его волосы и молчитъ.)

Федоръ Ивановичъ.

Ну? Не вѣришь?

Анфиса (улыбаясь)

Зачѣмъ ты спрашиваешь? Вѣдь ты же любишь иногда, чтобы тебѣ не вѣрили.

Федоръ Ивановичъ (улыбаясь).

Какъ ты меня узнала.

Анфиса

(грустно, съ какой-то странной покорностью).

Нѣтъ. Я ничего не знаю. (Улыбаясь, все съ той же покорностью передъ чѣмъ-то непреложнымъ и страшно печальнымъ.) Вѣдь я только сейчасъ замѣтила, что ты бороду подстригаешь. Я думала, что она такая...

Федоръ Ивановичъ (улыбаясь).

Отъ природы?

Татариновъ.

Итакъ, значить, чтобы не забыть: два билета перваго класса, купэ, до Петербурга. Для курящихъ, конечно. Вѣрно? (Собираетъ бумаги.) Ну, а затѣмъ... измучился я, какъ лошадь, въ твоихъ авгіевыхъ конюшняхъ.

Анфиса.

Неужели мы дѣйствительно поѣдемъ?

Федоръ Ивановичъ.

Ты уложила вещи?

Анфиса (удивленно).

Нѣтъ. Когда поѣздъ, Иванъ Петровичъ?

Татариновъ.

Ровно въ два. Вы это напрасно не укладывались. вамъ нужно торопиться.

Анфиса.

Да, да, я уложу. Что ты такъ смотришь на меня, Федя? Ты улыбаешься или нѣтъ? (Тихо.) Ну, что ты, голубчикъ, ты думаешь о чемъ-нибудь нехорошемъ?

Федоръ Ивановичъ (медленно).

Размышляю.

Анфиса.

О чемъ?

Федоръ Ивановичъ.

О вчерашнемъ. Не ошиблись ли мы съ тобой, Анфиса? Вчера я былъ въ какомъ-то угарѣ и плохо помню, что говорилъ. Но сегодня я вглядываюсь трезво и вижу: мы ошиблись, Анфиса. Вѣдь въ сущности ничего не измѣнилось. Твой вчерашній порывъ...

Анфиса.

Федя, не надо! Федя, Бога ради, не надо!

Федоръ Ивановичъ.

Твой вчерашній порывъ — случайность, одна изъ тѣхъ красивыхъ случайностей, которыя бываютъ у женщинъ. А сегодня ты увидѣла меня ясно, поняла, что я... въ сущности не люблю тебя... Ну, что жъ ты не смѣешься, Анфиса? (Хватаетъ ее за руки.) Что же ты не смѣешься, Анфиса, вѣдь я же шучу!

Татариновъ.

Конецъ.

Анфиса (вставая).

Что, какой конецъ? Федя, не надо! Я умоляю тебя, не надо. Если бъ ты зналъ, что ты дѣлаешь со мною. (Вздрагиваетъ.)

Федоръ Ивановичъ (рѣзко).

Вѣдь я же шучу!

Анфиса.

Да, да, но Бога ради не надо! Бога ради, Федя.

(Татариновъ деликатно отходить къ окну.)

Федоръ Ивановичъ (гнѣвно).

Это неправда, что мнѣ нужно недовѣріе! Мнѣ нужна вѣра, и ты оскорбляешь меня недовѣріемъ. Сказать правду въ лицо — это только половина; нужно еще сумѣть повѣрить, широко повѣрить, великодушно повѣрить, какъ вѣрить мужчина.

Анфиса

(въ страхѣ прячется къ нему на грудь).

Ахъ, Федя, если бы ты зналъ, что ты дѣлаешь со мною! Ахъ, если бы Господь открылъ твои глаза — ты не сталъ бы такъ говорить со мною. Ой, спрячь меня!

Федоръ Ивановичъ

(тревожно и ласково).

Ну, что ты, ну, что ты? Ну, спрячься, спрячься... Безпокойная ты душа. (Цѣлуетъ въ голову.) Это я твои мысли, твое безпокойство цѣлую.

(Звонокъ.)

Федоръ Ивановичъ.

Это еще кто пожаловалъ? Мнѣ даже какъ-то странно, что ко мнѣ — звонятся. Надо было и звонки обрѣзать.

Анфиса (безпокойно).

Федя, не принимай, пожалуйста. Я тебя прошу.

Федоръ Ивановичъ (подозрительно).

Это еще почему? Иванъ Петровичъ, будь другъ, открой дверь: мнѣ самому не хочется, мало ли тамъ кто можетъ быть.

(Татариновъ выходитъ.)

Федоръ Ивановичъ.

Почему ты не хочешь, чтобы я кого-нибудь принималъ? Ты боишься чего-нибудь?

Анфиса.

Нѣтъ. Да. Боюсь.

Федоръ Ивановичъ (хмуро улыбаясь).

Станный у насъ вечеръ!... А, господинъ Розенталь.

Анфиса (радостно).

Андрей Ивановичъ!

(Розенталь быстро идетъ къ Анфисѣ Павловнѣ, Татариновъ угрюмо шагаетъ до своего мѣста.)

Федоръ Ивановичъ (Татаринову).

Зачѣмъ ты пропустилъ его?

Татариновъ.

Прошелъ.

Розенталь.

Все еще злишься? Какъ глупо. Вашу ручку, Анфиса Павловна. Какъ вы себя чувствуете послѣ вчерашней передряги? Но вы молодецъ. Ей Богу, молодецъ. Я вчера залюбовался вами!

Федоръ Ивановичъ.

Напрасно ты даешь руку, Анфиса. Розенталь, уходите, пожалуйста, или я васъ вытолкаю въ шею.

Розенталь.

Что? Нѣтъ, это ты серьезно? Ты съ ума сошелъ, Федоръ Ивановичъ. Ну, вчера, въ раздраженіи, я еще понимаю, ну, а сегодня? И что я тебѣ сдѣлалъ такое, скажи, пожалуйста, — ты дѣйствительно сошелъ съ ума. Я, наконецъ, требую, Федоръ Ивановичъ, объясни ты мнѣ.

Федоръ Ивановичъ (брезгливо).

Это вы распустили про меня сплетни относительно Пѣтуховскихъ капиталовъ?

Розенталь.

Ахъ это? Ну, я. Господи! Неужели же ты, Федя, умный человѣкъ, не понимаешь той простой истины, что если здѣсь ничего не соврать — такъ завтра же нужно удавиться или перейти въ вегетеріанство. Чортъ тебя знаетъ, Федоръ, большой ты человѣкъ, а обращаешь вниманіе на пустяки, на недостойную мелочь. А вотъ что я тебя люблю, что я у тебя (сквозь слезы) ни разу ни копейки... не взялъ, ты этого не видишь. Нехорошо, Федя, Господь съ тобой!

Анфиса

(тихо Федору Ивановичу).

Ну, оставь его, Федя, вѣдь онъ не злой.

Федоръ Ивановичъ (такъ же тихо).

Ты ему рада? А знаешь, что мнѣ непріятнѣ всего? Это то, что онъ похвалилъ тебя (Розенталю.) Ну, ну, ладно. Только все-таки уходи, пожалуйста: я сегодня усталъ, и вообще я не въ настроеніи.

Розенталь.

Ну, вотъ это другой разговоръ. Я съ наслажденіемъ ухожу! Значить, завтра съ курьерскимъ?

Анфиса.

Да, кажется.

Розенталь (хватается за голову).

Ну, и букетъ же я вамъ привезу! Ты знаешь, денегъ я досталъ. Ну, и букетъ же я вамъ привезу.

Федоръ Ивановичъ.

Это еще зачѣмъ? Пожалуйста, не надо.

Розенталь.

Хочешь удрать потихоньку? Нехорошо, Федя, лицемѣрить, отъ тебя я этого не ожидалъ. Да вѣдь я и не тебѣ привезу, а вотъ этой... храброй... мужественной (цѣлуетъ руку) героинѣ!

Федоръ Ивановичъ (брезгливо).

Ну, довольно, оставь.

Розенталь.

Пожалуйста, не строй такихъ разбойничьихъ рожъ. Все это у тебя оттого, что ты ѣшь мясное. Взгляни на Татаринова! До-свиданія, Анфиса Павловна.

(Уходить.)

Татариновъ (вставая, возмущенно).

Такая безхарактерность, Федоръ Ивановичъ, обязываетъ меня...

Федоръ Ивановичъ (морщась).

Ахъ, какая гадость! Побылъ человѣкъ одну минуту, а стало такъ скучно, что ничего ужъ не хочется, и ѣхать не хочется, и чувствовать не хочется. Анфиса, зачѣмъ ты позволила поцѣловать руку.

Анфиса.

Но вѣдь это просто вѣжливость.

Федоръ Ивановичъ.

Вѣжливость, вѣжливость. Скучно съ тобой, Анфиса.

Татариновъ (примирительно).

Ну, ну, не сердись, голубчикъ, не стойтъ! Ты просто усталъ — вы дайте ему хорошенько отдохнуть, Анфиса Павловна. Стало быть, завтра въ одиннадцать, — раньше ты не встанешь. Прощайте, Анфиса Павловна.

Федоръ Ивановичъ.

Прощай, голубчикъ. Спасибо тебѣ...

Татариновъ.

Ну, ну!.. (У дверей тихо.) Вотъ что, Федоръ Ивановичъ, не покажется тебѣ сантиментальностью, если я тебя того... ну, какъ это поцѣлую. Ты скажи по правдѣ.

(Цѣлуются.)

Татариновъ (извиняясь).

Безпокойно мнѣ что-то, Федя. Но только ты... будь благородень, Федя. А?

Федоръ Ивановичъ (мягко).

Постараюсь, Иванъ Петровичъ.

Татариновъ.

Ну, вотъ, спасибо. А то все какъ-то ... безпокойно. Прощай!

(Уходитъ. Федоръ Ивановичъ, осматриваясь, ходитъ по комнатѣ.)

Федоръ Ивановичъ.

Одни.

(Анфиса молчитъ.)

Федоръ Ивановичъ.

Который часъ? Усталъ я. (Звонить.)

Анфиса.

Кати нѣтъ.

Федоръ Ивановичъ.

Ахъ да, я и забылъ. Кто же въ домѣ: ты, я и старуха? Пріятный домъ. Не можешь ли ты принести

мнѣ ликеру, Анфиса, онъ гдѣ-то тамъ... Впрочемъ, погоди. Отчего ты все молчишь? Ты любишь меня, Анфиса?

Анфиса (улыбаясь).

Нѣтъ.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, нѣтъ, не шути! Ты засмѣялась, и мнѣ стало неловко: вѣдь я тебя не знаю. Ты понимаешь этотъ ужасъ: я тебя цѣлую, обнимаю, говорю — и совершенно не знаю. Такая ты или другая. (Разводитъ руками.) — Не знаю.

Анфиса.

Ты меня видишь.

Федоръ Ивановичъ.

Да. Но и вижу-то словно впервые. Какъ странно: ты никогда не завиваешься, Анфиса?

Анфиса (улыбаясь).

Нѣтъ. А ты всегда подстригаешь бороду?

Федоръ Ивановичъ.

Да. И у тебя очень густыя брови, Анфиса.

Анфиса.

А ты часто вынимаешь часы, но не смотришь.

Федоръ Ивановичъ.

И у тебя на пальцѣ ядъ.

Анфиса (пряча руку).

А ты часто поднимаешь руку ко лбу...

Федоръ Ивановичъ.

Ты всегда въ черномъ платьѣ. Кто ты, Анфиса?

Анфиса (улыбаясь).

Кто вы, Федоръ Ивановичъ?

(Оба странно смѣются и сразу обрываютъ смѣхъ)

Федоръ Ивановичъ (хмуро).

Странная игра. Но я хочу говорить серьезно. Сегодня ты весь день молчишь, Анфиса. Ты, можетъ быть, этого не замѣчаешь, но ты весь день молчишь, Анфиса.

Анфиса.

Развѣ? Значить... я думаю.

Федоръ Ивановичъ (подозрительно).

Что-нибудь страшное?

Анфиса (вздрагиваетъ).

Почему страшное? Почему страшное?

Федоръ Ивановичъ.

Потому что я тебя не знаю. Сегодня я видѣлъ, какъ ты, задумавшись, проходила по комнатѣ куда-то. У тебя такая неслышная поступь, и ты была такая странная, всему чужая, что показалась мнѣ похожею на черную тѣнь. Куда ты ходила?

Анфиса.

Къ бабушкѣ.

Федоръ Ивановичъ.

Это зачѣмъ?

Анфиса.

Я ходила ее кормить.

Федоръ Ивановичъ.

Я бы не сталъ ее кормить. Я уморилъ бы ее голодомъ. Который часъ? Господи, еще только одиннадцать часовъ. Но что же ты молчишь, Анфиса? Это становится невыносимымъ.

Анфиса.

Федя, я сама не знаю.

Федоръ Ивановичъ.

Я уйду!

Анфиса (торопливо).

Ну, хорошо, ну, слушай, да, это правда, что я молчу — но знаешь, съ какихъ это поръ? Съ той ночи, какъ я стояла передъ запертою дверью и звала тебя. Какъ будто въ ту ночь я сказала всѣ слова, какія есть, и у меня уже не осталось больше ни одного слова. Если хочешь, я могу говорить, но... Не заставляй меня, Федя, я скажу не то.

Федоръ Ивановичъ.

Я уйду!

Анфиса.

Ну, хорошо, ну, слушай! Вчера вѣдь я кричала, да? Этотъ крикъ я слышу, онъ стоитъ въ моихъ ушахъ. Но это кричалъ кто-то другой, а я — молчала.

Федоръ Ивановичъ

(вдумываясь, тревожно).

Ты что-нибудь рѣшаешь? Тамъ, у тебя въ глубинѣ что-то рѣшается? Быть можетъ, уже рѣшилось? Ну, говори же!

Анфиса.

Не знаю. Да. Можетъ быть. Я все время жду.

Федоръ Ивановичъ.

Чего?

Анфиса.

Не знаю.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, ты знаешь! Говори! Ты должна сказать. Слышишь!

Анфиса.

Я не знаю.

Федоръ Ивановичъ.

Ложь. (Хватаетъ ее за руку и всматривается въ глаза.) Говори! Я не позволю этого. Я заставлю тебя говорить!

Анфиса.

Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, не спрашивай. Мнѣ страшно. Я люблю тебя. (Цѣлуетъ въ голову нѣсколько сопротивляющагося Федора Ивановича.) Я люблю тебя, я лю-

блю тебя, я люблю тебя. Ой, обними меня. Ой, крѣпче, крѣпче обними меня!

Федоръ Ивановичъ

(испуганно и ласково).

Ну, что ты, что ты?

Анфиса

(пряча голову къ нему на грудь).

Ты смотрѣлъ на меня... какъ вчера... когда про змѣю... про змѣю... Ой, не надо, Федя. Обними меня крѣпче. Я боюсь. Не пускай меня, не пускай.

(Звонокъ.)

Анфиса (вскрикиваетъ).

Ай! Что это!

Федоръ Ивановичъ.

Что ты, что ты. Это звонокъ, успокойся же. Вотъ не думалъ, что ты такая трусиха. Ты и на меня нагнала страху. Вѣдь это же нелѣпо. Сидимъ съ тобой, какъ маленькія дѣти, и пугаемъ другъ друга.

Анфиса.

Не уходи.

(Звонокъ повторяется.)

Федоръ Ивановичъ.

Звонятъ. Ну, погоди одну минутку, а я пойду открою. Кто это можетъ быть?

Анфиса (обнимая крѣпче).

Не уходи.

Федоръ Ивановичъ.

Да, не ребячься же, Анфиса. Вѣроятно, телеграмма. Я сейчасъ. Ну?

(Оглядываясь на Анфису, уходитъ. Анфиса прячетъ голову въ углу дивана, но когда слышитъ голосъ Ниночки — поднимается и смотритъ на дверь широко открытыми глазами.)

Ниночка (за дверью).

А я думала, что вы, что ты уже спишь... хотѣла уйти. Кто жъ у васъ въ домѣ? Только... свои?

Федоръ Ивановичъ (также за дверью).

Да, только свои... И не боишься ты ночью ходить одна? Смѣлая дѣвчонка.

(Входятъ. Ниночка, увидѣвъ Анфису, останавливается у порога.)

Федоръ Ивановичъ.

Входи же, Ниночка, входи. (Немного неловко.) Это Ниночка, Анфиса.

Ниночка.

Мнѣ нужно поговорить съ тобою, дядя Федя. Но только наединѣ.

Федоръ Ивановичъ.

Ты можешь говорить при ней. Ты же вѣдь знаешь...

Ниночка.

Нѣтъ, я могу говорить только наединѣ.

Анфиса

(немного чужимъ голосомъ).

Федоръ Ивановичъ, позвольте мнѣ остаться здѣсь.

Федоръ Ивановичъ.

Да? (Мгновеніе нерѣшимости.) Пустяки, Анфиса, это только на минуту. Пойди туда... И кстати приготовь мнѣ ликеру. Одну только минуту.

(Анфиса со странной покорностью уходитъ въ открытую дверь гостиной. Оба оставшіеся прислушиваются къ ея удаляющимся шагамъ и радостно бросаются другъ къ другу.)

Федоръ Ивановичъ (взволнованно).

Какъ я радъ, что ты пришла. Не знаю, что со мной сегодня!. Нервы ли просто развинтились или этотъ пустой домъ.. но только такая жуть...

Ниночка.

И я такъ рада. Я... не могу жить безъ тебя...

(Онъ обнимаетъ Ниночку, цѣлуетъ, и нѣкоторое время они стоятъ обнявшись, какъ влюбленные.)

Федоръ Ивановичъ.

Голубчикъ ты мой! Сонъ ты мой золотой! Не побоялась одна? Какъ я радъ тебѣ.

Ниночка (цѣлуетъ его).

Милый, милый, милый.

(Федоръ Ивановичъ сажаетъ Ниночку на диванъ и незамѣтно для себя становится передъ нею на колѣни.)

Федоръ Ивановичъ.

Ну, что, дѣточка, что принесла? (Улыбаясь.) Опять записку? Какъ я радъ тебѣ.

Ниночка.

Да, вотъ.

Федоръ Ивановичъ (рветъ письмо).

Какая же она право... странная. И не побоялась ты — ночью одна? Ахъ, дѣвочка моя милая...

Ниночка

(осторожно кладя руку на плечо).

А на случай, если ты разорвешь письмо, не читая, она велѣла передать тебѣ, что она ни въ чемъ не виновата, что она просить, чтобы ты ее простишь, и что, какъ только папаша ее выпустить, она сейчасъ же пріѣдетъ къ тебѣ. Въ то, что ты уѣдешь... не одинъ, она не вѣритъ. И все время плачетъ до того, что невыносимо смотрѣть. А папаша заперъ ее съ ребенкомъ на ключъ, стоитъ передъ дверью, топаешь ногами и все ее проклинаятъ. Онъ совсѣмъ потерялся. Добылъ денегъ и закупилъ Богъ знаетъ чего: сардинокъ, какой-то рыбы, фруктовъ, и все это для младенца. А мнѣ матеріи на платье купилъ... еще какой-то зеленой. О тебѣ и слышать не хочетъ. Попробовала я что-то сказать, такъ онъ и меня проклялъ.

Федоръ Ивановичъ.

Жалко старика. Я виноватъ передъ нимъ. Но все равно.

Ниночка.

Конечно, жалко. Но почему, все равно? Такъ говорятъ только тѣ, кто не собирается больше жить.

Федоръ Ивановичъ

Какъ я радъ тебѣ! Не уходи, Ниночка. (Цѣлуетъ ей руку.) Озябла, бѣдненькая?

(Въ темныхъ дверяхъ гостиной появляется на мгновенье Анфиса. Смотритъ мертвымъ лицомъ на нихъ и такъ же безшумно исчезаетъ.)

Ниночка.

Нѣтъ, я не ухожу. Я еще должна сказать тебѣ... Только я не могу говорить, пока ты такъ стоишь. Это очень серьезно.

Федоръ Ивановичъ (удивленно).

Дѣйствительно, какъ я сталъ? (Встаетъ.) Если бъ я сейчасъ былъ склоненъ къ шуткамъ, я бы сказалъ: это судьба.

Ниночка.

А, можетъ быть, это и не шутка. Только, пожалуйста, дядя Федя, отойди отъ меня еще дальше. Это очень серьезно. (Оглядывается.) А Анфисы тамъ нѣтъ?

Федоръ Ивановичъ (прислушивается).

Нѣту. Она, вѣроятно, ушла къ этой... старухѣ. Ты знаешь, во всемъ домѣ мы только трое: я, она и старуха. Станный домъ! Ну, такъ что же, Ниночка?

Ниночка (вставая).

Я люблю тебя, дядя Федя.

Федоръ Ивановичъ.

Не надо, Ниночка! Я не хочу любви.

Ниночка.

Нѣтъ, я люблю тебя, дядя Федя. И я уже не дѣ-

вочка и знаю, что говорю. Ты можешь поступить, какъ хочешь, но я пришла къ тебѣ, чтобы это сказать — и вотъ сказала. И тебѣ слѣдуетъ просто отвѣтить мнѣ:—а я тебя, Ниночка, не люблю. И тогда я (сдерживая слезы) — уйду.

Федоръ Ивановичъ.

Но развѣ это правда, Ниночка. Но развѣ ты знаешь, что такое любовь? Ты просто, голубчикъ мой, обезьяничаешь со взрослыхъ, а тебѣ ужъ и кажется...

Ниночка.

Ахъ, дядя Федя, дядя Федя, какъ ты еще мало знаешь людей. Я вѣдь предчувствовала, что ты мнѣ не повѣришь, будешь смѣяться, — ты привыкъ меня видѣть дѣвочкой и просто не замѣтилъ, какъ я выросла. И я, быть можетъ, и не пошла бы, если бы такъ не жалѣла... и не боялась за тебя. Дядя Федя, милый, милый, не ѣзди съ нею! Я ея боюсь!

Федоръ Ивановичъ.

Ниночка, ты не знаешь, что говоришь.

Ниночка.

Это ты не знаешь, а я знаю, знаю. Не ѣзди съ нею, не ѣзди съ нею. Ну... возьми меня, если хочешь. Я чистая — клянусь, меня не поцѣловалъ ни одинъ мужчина — и я отдамъ тебѣ все, что только можетъ быть въ душѣ. Ахъ, ты еще не зналъ любви, дядя, ты же не зналъ ея никогда! (Медленно становится на колѣни и складываетъ руки, какъ на молитву.) Возьми меня, Федя.

Федоръ Ивановичъ

(закрываетъ лицо руками и ходить по комнатѣ).
Молчи. Молчи.

Ниночка.

Я молчу.

Федоръ Ивановичъ (такъ же).

И ты поѣдешь со мной?

Ниночка.

Поѣду.

Федоръ Ивановичъ.

Завтра?

Ниночка.

Когда хочешь.

Анфиса (въ дверяхъ).

Вы еще не кончили?

(Ниночка быстро вскакиваетъ съ колѣнъ и отходить.)

Федоръ Ивановичъ.

Ахъ, это ты? Да. Кончили. Сейчасъ, одну только минуту!

(Анфиса уходитъ. Федоръ Ивановичъ быстро обнимаетъ Ниночку, почти душитъ ее.)

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, нѣтъ. Ты не знаешь, что говоришь, Нина, но... но... Приходи завтра утромъ, слышишь? Все это вздоръ, но ты знаешь, дѣвочка — я сейчасъ только, послѣ многихъ мѣсяцевъ вздохнулъ полной грудью.

Ниночка.

Господи, какъ я рада. Господи, какъ я рада. Ты

вѣдь не знаешь, дядя Федя — я ужъ сегодня начала укладывать вещи!

Федоръ Ивановичъ (толкая ее).

Ну, иди, иди. (Цѣлуетъ.) Иди. Но только... приходи.

(Уходитъ по направленію къ прихожей. Появляется Анфиса, ставитъ на столъ бутылку ликеру и рюмку. Движенія ея очень спокойны, точны, но какъ-то странно правильны и почти механически отчетливы. Поставивъ бутылку, Анфиса подходитъ къ лампѣ и внимательно разсматриваетъ перстень, пріоткрываетъ его, вглядывается очень сосредоточенно и закрываетъ. Потомъ обычнымъ кокетливымъ женскимъ движеніемъ разсматриваетъ свою руку.)

Федоръ Ивановичъ

(входитъ, говорить нѣсколько смущенно).

Какая смѣлая дѣвчонка, — ходитъ ночью одна. Отъ Саши опять письмо.

Анфиса.

Я слышала все. Я была въ той комнатѣ и слышала все.

Федоръ Ивановичъ

(съ напускнымъ гнѣвомъ).

Ты подслушивала!

Анфиса.

Нѣтъ, я не подслушивала. Это правда, что ты завтра ѣдешь съ Ниной?

Федоръ Ивановичъ.

Какой вздоръ, какъ тебѣ не стыдно, Анфиса. Дѣвчонка, Богъ знаетъ, чего наслушалась въ нашемъ домѣ и просто обезьяничаетъ.

Анфиса.

Нѣтъ, она тебя любить.

Федоръ Ивановичъ.

Ты думаешь?

Анфиса.

Да. Но ты ея не любишь. Ты никого не любишь.

Федоръ Ивановичъ (улыбаясь).

А тебя?

Анфиса.

Меня — любишь. И я очень рада, что ты такъ относишься къ Ниночкинымъ словамъ. Тебѣ нельзя съ ней ѣхать. Ты хочешь любить, но не умѣешь, и если ты поѣдешь съ Ниной...

Федоръ Ивановичъ (нетерпѣливо).

Ты опять повторяешь это! Вѣдь я же сказалъ тебѣ, что это вздоръ, вздоръ, вздоръ! Поцѣлуй меня, Анфиса. (Цѣлуетъ ее.) Какая ты красивая. Ты любишь меня?

Анфиса.

Люблю.

Федоръ Ивановичъ (крѣпко обнимая).

Какая ты красивая! Ты вся, какъ черный огонь, который не свѣтитъ, а только жжетъ... и какъ жжетъ! Ты помнишь, Анфиса? (Обнимаетъ все крѣпче и заглядываетъ ей въ глаза.) Анфиса.

Анфиса

(цѣлуя его и въ то же время сопротивляясь).

Нѣтъ, нѣтъ, не надо.

Федоръ Ивановичъ.

Анфиса.

Анфиса.

Нѣтъ, нѣтъ. Не надо! Пусти! Ты усталъ. Не надо. Я не хочу. (Вырывается, тяжело дыша).

Федоръ Ивановичъ (угрюмо).

Не хочешь?

Анфиса.

Ахъ, какой ты, Федя! Ну, не сердись, милый. Я вѣдь такъ люблю тебя! Но я устала. И мнѣ немного нехорошо. А что же ликеръ? Я вѣдь принесла. Вотъ онъ. На! (Наливаетъ.) Выпей. Тебѣ нужно отдохнуть, Федя, ты такъ усталъ.

Федоръ Ивановичъ

(подумавъ, добродушно)

Ну, Господь съ тобой. Да, я усталъ.

Анфиса.

Тебѣ нужно уснуть.

Федоръ Ивановичъ.

Да, мнѣ нужно уснуть. (Пьетъ и смѣется.) Да, мнѣ нужно уснуть.

Анфиса.

Чему ты смѣешься?

Федоръ Ивановичъ.

Такъ. Мнѣ дѣйствительно стало весело отъ ея наивности. Подумай, она клянется: меня еще ни разу не поцѣловаль ни одинъ мужчина.

Анфиса.

Ни одинъ мужчина.

Федоръ Ивановичъ.

Да! Ни одинъ мужчина! Налей мнѣ еще. Я сегодня хочу пить только изъ твоихъ рукъ.

Анфиса.

Отдохни, мой милый, ты такъ усталъ.

Федоръ Ивановичъ

(чему-то улыбаясь).

Да, я отдохну, я такъ усталъ.

Анфиса.

Прилягъ ко мнѣ на колѣни. Я сяду, а ты положишь мнѣ голову на колѣни, и я тебѣ спою пѣсенку, какъ вчера. Прилягъ!

Федоръ Ивановичъ.

Вчера было хорошо. Но мнѣ хочется ходить, у меня столько мыслей, у меня столько плановъ, я вдругъ увидѣлъ міръ — весь міръ — зеленый, красный, голубой. Давай мечтать, Анфиса!

Анфиса.

Давай мечтать! Но ты лягъ.

Федоръ Ивановичъ.

Который часъ? О, уже двѣнадцать. (Стучить кулакомъ по рукъ.) Время идетъ, время идетъ! Налей мнѣ еще. Ну, скорѣе! Я ѣду, я ѣду, я ѣду. И все-таки — усталъ. Усталъ.

Анфиса.

Прилягъ. Вотъ такъ! Тебѣ удобно?

Федоръ Ивановичъ

(ложится и кладетъ голову къ Анфисѣ на колѣни).

Да, хорошо. У тебя немножко жесткія колѣни, но это хорошо. Я люблю, что ты вся такая... жесткая, сухая и горячая, какъ крапива. (Смѣется.) Какъ крапива! Давай мечтать, Анфиса, о свѣтломъ. (Съ глубокой правдивостью.) Вѣдь никто не знаетъ — и даже ты не знаешь, какъ я усталъ, какъ я измучился, какъ временами ненавижу я жизнь... и себя.

Анфиса.

Не жалѣй жизни. Она такъ печальна, и такъ темна, и такъ страшна она. Кто судить насъ?

Федоръ Ивановичъ.

Откуда моя тоска? Я какъ будто счастливъ, я самъ дѣлаю свою жизнь — но откуда эта жестокая, неотступная тоска? Давай мечтать, Анфиса, я думать не хочу. Что-то красивое встаетъ передъ моими глазами, и оно волнуется тихо, какъ голубой туманъ передъ восходомъ солнца. Какія-то пѣсни я слышу, Анфиса, какія-то деревья на глазахъ моихъ покрываются цвѣтами. Ты любишь яблоню, когда она цвѣтетъ?

Анфиса.

Я люблю красныя розы.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, нѣтъ... яблоню, когда она цвѣтетъ! Какія-то птицы летятъ надо мною, и сверкаютъ на солнцѣ

ихъ огромныя бѣлыя крылья. Я грежу, Анфиса. Скажи мнѣ эти слова, которыя поютъ мнѣ о другомъ.

Анфиса (тихо).

Другъ, другъ, желанный ты мой.

Федоръ Ивановичъ (повторяя).

Другъ, другъ, желанный ты мой...

Анфиса.

Кто безпокойному сердцу отвѣтитъ?

Федоръ Ивановичъ (повторяя)

Кто безпокойному сердцу отвѣтитъ?..

Анфиса.

Море... Море любви ему въ вѣчности свѣтитъ — свѣтитъ желанный покой.

Федоръ Ивановичъ.

Свѣтитъ желанный покой. Отчего ты вздрогнула, Анфиса? Свѣтитъ желанный покой. Постой, я, кажется, вижу его. Всю жизнь я стараюсь вспомнить это лицо и не могу, и мучаюсь, а вотъ сейчасъ...

Анфиса.

Лицо женщины?

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, нѣтъ. Я не знаю, чье это лицо. А вотъ сейчасъ, на одно мгновеніе оно какъ будто склонилось надо мною, и мнѣ стало такъ хорошо. (Безпо-

койно.) Но ты его спугнула, Анфиса. Я опять не могу вспомнить. Какіе у него глаза? — я ихъ видѣлъ.

Анфиса.

Голубые, ясные и взоръ ихъ необъятенъ.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, скорѣе черные.

Анфиса.

Нѣтъ, не черные. (Вздрагиваетъ.) Нѣтъ, не черные. Онъ звалъ тебя?

Федоръ Ивановичъ.

О комъ ты говоришь? Меня никто не звалъ. (Привстаетъ на локтѣ и тревожно вслушивается.) Тамъ кто-нибудь есть? Ты опять молчишь, Анфиса?

Анфиса (глядя его волосы).

Нѣтъ, нѣтъ, родной. Я все время говорю, развѣ ты не слышишь? Спи спокойно и довѣрчиво. Я не обману тебя. Это я тебѣ рассказала о бѣлой яблонѣ, которая цвѣтетъ. Усни, дитя мое, и я спою тебѣ ту глупую пѣсенку, что пѣла мальчику моему. (Вдругъ плачетъ.)

Федоръ Ивановичъ.

О чемъ? Не надо плакать.

Анфиса.

Я такъ. Вспомнила! Не надо плакать. Ахъ, не надо плакать! Милый ты мой, родной ты мой, моя единая и вѣчная любовь. (Тихо псеть.) Баю-баюшки-баю. Баю (вздрагиваетъ) милую мою. Ты спишь?

Федоръ Ивановичъ.

Постой, не мѣшай.

Анфиса.

Нѣтъ, больше не буду. Баю-баюшки-баю... Полежи, я потушу лампу.

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, не надо, такъ хорошо.

Анфиса.

Я зажгу свѣчу.

(Анфиса осторожно встаетъ, Федоръ Ивановичъ остается лежать на спинѣ, глаза его закрыты. Во время дальнѣйшаго разговора, Анфиса гаситъ лампу и зажигаетъ свѣчу, потомъ раскрываетъ перстень и высыпаетъ ядъ въ рюмку, руки ея слегка дрожать.)

Федоръ Ивановичъ (сонно).

Ну, что же ты? Я хочу спать.

Анфиса.

Сейчасъ, мой милый! Я налью тебѣ ликеру.

Федоръ Ивановичъ.

Я больше не хочу.

Анфиса.

Можетъ быть, выпьешь?

Федоръ Ивановичъ.

Ну, иди же.

Анфиса.

Сейчасъ.

(Осторожно ставитъ рюмку на столикъ около дивана и садится на прежнее мѣсто.)

Анфиса.

Ты опять видишь его?

Федоръ Ивановичъ.

Нѣтъ, нѣтъ, не мѣшай, молчи. Или лучше спой, Анфиса.

Анфиса.

Сейчасъ. Выпей только.

Федоръ Ивановичъ.

Я не хочу.

Анфиса.

Ну, одну, только одну. Больше не надо.

Федоръ Ивановичъ.

Да не хочу же я!

Анфиса.

Выпей!

(Поднимаетъ ему руку и почти насильно вставляетъ въ нее рюмку.)

Федоръ Ивановичъ.

Какая ты нелѣпая. (Приподнимается на локтѣ, говорить лѣниво.) Зачѣмъ ты мнѣ помѣшала, Анфиса? Мнѣ было такъ хорошо. Который часъ? Значитъ ѣдемъ?

Анфиса.

Ну, пей же, пей.

Федоръ Ивановичъ.

Сейчасъ. Я и забылъ сказать Ивану Петровичу, чтобы онъ приходилъ пораньше. Онъ, кажется, хотѣлъ въ одиннадцать.

Анфиса.

Боже мой, да пей же!

Федоръ Ивановичъ.

Что ты? Сейчасъ я же тебѣ сказалъ. (Подозрительно вглядывается въ Анфису.) Постой, глаза... Покажи глаза! А-а-а-а!

(Съ ужасомъ смотритъ въ остановившіеся глаза и въ то же время, продолжая начатое движеніе, подносить рюмку ко рту и пьетъ. Вскрикиваетъ, какъ бы поднятый чудовищной силой, задыхаясь и хрипя, дѣлаетъ нѣсколько странныхъ скачковъ по комнатѣ, въ одинъ изъ которыхъ чуть не сшибаетъ съ ногъ Анфису и падаетъ мертвымъ. Анфиса смотритъ, защищаясь вытянутыми впередъ руками и, когда Федоръ Ивановичъ падаетъ, — отбѣгаетъ въ дальній уголъ. Дико съ надрывомъ кричитъ, какъ только можно кричать въ пустомъ домѣ.)

(Въ темныхъ дверяхъ показывается старуха; цѣпляясь за притолку, добирается до кресла и садится въ него.)

(Молчаніе.)

Бабушка.

Умеръ, да?

Анфиса.

Кажется, умеръ. Я не знаю. Я боюсь подойти.

Бабушка.

Такъ, такъ. (Подходить и смотреть.) Прикрыла бы ты его. Нехорошо такъ.

Анфиса.

Я не знаю, чѣмъ. Если бы гдѣ-нибудь найти простыню. Но я боюсь подойти.

Бабушка

(садится на прежнее мѣсто).

А ты въ чемоданѣ посмотри, въ чемоданѣ посмотри. Его чемоданъ?

Анфиса.

Его. Въ чемоданѣ должно быть есть. Вотъ.

(Быстро накидываетъ на мертвеца простыню, но разошедшіяся ноги и одна желтая рука остаются открытыми.)

Бабушка.

Мышьякомъ.

Анфиса.

Нѣтъ, ціанистый калій.

Бабушка.

Такъ, такъ. Не знаю, не слыхала. Который часъ?

Анфиса.

Не знаю. Часы у него въ карманѣ. (Ляская зубами.) Бабушка, мнѣ страшно!

Бабушка.

Такъ, такъ. Ну, и страшно, ну, и страшно.

Анфиса (ляская зубами).

Бабушка, мнѣ страшно. Что же дѣлать? Что же дѣлать?

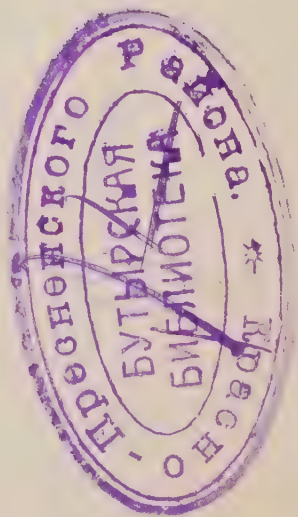
Бабушка.

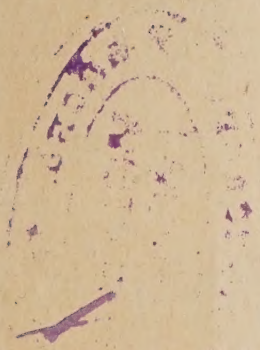
Такъ, такъ. Нечего дѣлать, все сдѣлано. Молчи.

(Обѣ женщины сидятъ и неотступно смотрятъ на бѣлое пятно простыни. Въ сумракѣ кажется, что оно шевелится.)

(Свѣтаетъ.)

Занавѣсъ.





15P

